



Поездка На Юг



Валентин Катаев

Оказалось, что наш автомобиль «Победа» — кабриолет с открывающимся брезентовым верхом — довольно емкая машина. В ней поместилось все семейство: двое взрослых, трое детей, шестой — дядя Саша, водитель.

Вещей взяли самое небольшое количество. Никаких спальных принадлежностей. Три дорожных мешка и ручной чемоданчик. Их заперли в багажник. Сумку с едой положили на спинку заднего сиденья. Так что, когда в семь часов утра тронулись в путь, никто бы не подумал, что нам предстоит проехать свыше тысячи пятисот километров.

Для того чтобы попасть с Минского шоссе на симферопольскую магистраль, следовало проехать через Москву. Там мы остановились возле колонки и заправились. Дядя Саша в последний раз обошел машину, открыл капот, измерил стальной линейкой уровень зеленовато-черного масла, потрогал баллоны, и мы тронулись по утренним улицам, мимо закрытых магазинов, к заставе. Невысокое солнце сухо горело в стеклах автобусов. По улицам летали зеркальные отражения легковых машин. Бесшумно хлопали сверкающие медью двери метро, торопливо впуская и выпуская пассажиров. Это был час, когда по городу развозят продукты. То и дело попадались кремовые цистерны с молоком, автофургоны — «Хлеб», «Мясо», «Рыба». Армия мороженщиц в белых халатах катила голубые ящики, торопясь занять места у троллейбусных остановок, и грузовики со льдом сбрасывали на ходу сверкающие глыбы возле тележек с газированной водой.

— Мне пришла в голову идея, — сказал Павлик. — Давайте на прощанье скушаем мороженого.

— Мороженого! Мороженого! — закричали ребята хором.

Этого еще не хватало! — сказала мама. — Еще не выехали на шоссе, а уже останавливаться. И, кроме того, что это за манера есть мороженое в восемь часов утра? Потерпите до Тулы.

Утренний зной низко висел над городом. В нескольких местах из него мягко выступали очертания высотных зданий. Они как бы стояли по колено в пелене жаркого тумана. Совсем недавно мы были свидетелями их зарождения. Они развивались из простейших клеток, которые с поражающей быстротой росли вверх. Некоторое время они возвышались над разными районами города, как строгие прямоугольные каркасы — почти чертежи, — еще не здания, а лишь как бы схемы зданий. По ночам над ними высоко в черном небе горели униженные электричеством стрелы кранов и по стальным клеткам бегали сапфировые звезды электросварки. Теперь, заполненные кирпичом и частично облицованные, они уже приобрели почти законченную архитектурную форму, эти первенцы послевоенных пятилеток, новорожденные богатыри, озирающие с высоты своего могучего роста поля, огороды и рощи Подмосковья. Они были похожи, как родные братья, но каждый из них имел свои особые черты. Мы легко узнавали их, как хороших знакомых, хотя еще и не знали их имен. Мы их называли так: «тот, что на Смоленской», «у Красных ворот», «на Кудринке», «который на Комсомольской площади». Только один уже имел имя: «Новый Московский университет» — самый высокий из всех братьев-богатырей, не дворец, а целый город, видный с расстояния по крайней мере сорока километров.

Мы уезжали всего на один месяц, но нам было жалко расставаться с высотными зданиями. Мы уже к ним привыкли. Видимо, и они к нам привыкли. Они все время появлялись то справа, то слева, то впереди, то сзади, то сбоку. Мы еще ехали городом, а они уже видели вдалеке магистраль, по которой нам предстояло через несколько минут промчатся. Они расступались, вежливо и доброжелательно уступая нам дорогу. Интересно знать, какие они будут через месяц, когда мы вернемся? Наверное, еще больше подрастут и сформируются. В час добрый, до скорого свидания, великаны!

Мы проехали мимо речного вокзала и выскочили на широкий асфальт Варшавского шоссе. Но город еще долго не кончался. Он плавно расходился по сторонам сотнями фабричных корпусов, тысячами многоэтажных жилых зданий, новыми и старыми школами, универмагами. Старые и новые заводские трубы расстилали по горизонту скатерть пепельного дыма, который смягчал краски, и сквозь него вся эта фабрично-заводская панорама, с ее решетчатыми вышками, трансформаторами, подстанциями, виадуками, мостиками, казалась нарисованной пастелью.

Кое-где между домов мелькнули огороды. Показалась маленькая роща, потом кусочек желто-зеленого поля, над ним — легкое облачко с синим основанием. Повяло полевым простором. Но шоссе по-прежнему оставалось как бы продолжением города с его массивными чугунными фонарями, выкрашенными серебряной краской, с яркими дисками и треугольниками знаков уличного движения, с полосатыми жезлами милиционеров.

Но вот фонари исчезли. Кончилась сеть трамвайных и троллейбусных проводов. Над головой пролетел последний светофор. Шоссе круто нырнуло под косою железнодорожный мост с крупно написанными во всю его ширину волшебными словами «Москва — Симферополь» и громадным черным восклицательным знаком, окруженным зеркальными пуговками. Машина на миг окунулась в резкую косую тень и тотчас выскочила на яркое солнце. Мы оглянулись — Москвы уже не было. Лишь на горизонте мерцало дымное марево, да над ним синей полосой далекого леса виднелась верхушка нового университета и ползущий мимо нее в небе чуть заметный самолет. Скоро она скрылась. Но дорога пошла вверх, и верхушка опять показалась над лесом. И опять скрылась и опять показалась — маленький мерцающий клинышек, затепленный сиянием утреннего света.

Павлик привстал со своего места и, ухватясь за спинку переднего сиденья, с жадностью смотрел в боковое окошко с косо повернутым стеклом, по которому, шурша резинкой, скользил ветерок.

Я посмотрел в окно.

Вокруг поворачивались поля, рощи. Вдоль и поперек шагали по земле за горизонт четырехногие, шестирукие мачты высоковольтной электропередачи, неся на плечах грузно провисшие провода. Вдалеке полз трактор.

Асфальтовая лента шоссе, твердая, гладкая, накатанная до стеклянного глянца, плавно сужаясь к горизонту, стремительно стлалась под машиной и уносилась назад, увлекая за собой дорожные знаки, бело-черные столбики переездов, избы, деревья и крупную надпись: «До Симферополя 1388 км».

Первый город на нашем пути был Подольск. Мы увидели высокие трубы цементного и шамотного заводов. Они стояли попарно, как стволы двустволок. Дорогу пересекала заводская железнодорожная ветка. На повороте возвышалась белая статуя молодого рабочего в спецовке с разводным ключом в откинутой руке. За ним виднелась внушительная панорама заводов, длинные насыпи шлака, в которых копалось несколько экскаваторов. Мы проехали мимо новых домов рабочего поселка. Шоссе пошло вниз, стало широко поворачивать. На обочине, появились серебряные столбики с красными зеркальными пуговичками. Слева в густой зелени мелькнула река Пахра. На одном из деревянных домиков мы увидели белую мраморную доску с надписью: «Здесь в 1900 году жил великий вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин». Мы остановились. Но дом-музей оказался закрытым — было еще слишком рано, — и мы отправились дальше, решив посетить музей на обратном пути. Варшавское шоссе свернуло вправо. На стрелке на миг показалось слово «Брест». А мы продолжали катить прямо на юг по симферопольской магистрали.

От старого, дореволюционного Подольска осталась какая-нибудь сотня маленьких трехконных домиков с провинциальными палисадниками да старая церковь, на минуту показавшая из пыльной зелени церковного сада свои синие полинявшие купола, усеянные серебряными звездами. Еще сравнительно недавно, до войны, проехать через Подольск на машине было делом не совсем приятным: скверная, тряская мостовая, выбоины, объезды. Теперь все было покрыто новым асфальтом шириной метров в пятнадцать. К сожалению, мы не смогли полностью использовать этот простор, так как всюду висели знаки, запрещающие обгон, — мера, по-моему, неоправданно строгая, если принять во внимание ширину шоссе. Вследствие этого нам пришлось сбросить скорость и плестись через весь город, уткнувшись в хвост длиннейшей вереницы грузового транспорта. Впрочем, это не испортило нам настроения. Слишком горячо и радостно сияло летнее утро, слишком много увлекательного и неизвестного ожидало нас впереди, а наверстать упущенные десять минут нам ничего не стоило. Едва позади остался последний запретительный кружок и последний подольский регулировщик, как дядя Саша воспрянул духом и дал восемьдесят.

Чистый теплый ветер ворвался в открытые окна и, пролетев по машине, выдул летние городские запахи горячего асфальта, отработанного газа, печеного хлеба, свежей масляной краски.

Пейзаж по-прежнему был московский. Гармоническое соединение полей, лугов и огородов с островами смешанного леса. Живописная, извилистая речка. Дымок поезда. Стога свежего, серо-зеленого сена. И непременно где-нибудь столбы высоковольтной электропередачи, бредущие напрямик, без дороги, через поля, деревни и рощи.

— Типичный третий, — заметила Женя. — Область «среднего» климата, более умеренного, чем на севере, и не такого жаркого, как на юге, со средним количеством осадков; область постепенного перехода от леса к степи, от бедных подзолистых почв и суглинков к богатейшим и плодороднейшим черноземам.

И мы все с уважением посмотрели на умную и широко образованную Женю, хотя так и не поняли, что она имела в виду, когда сказала, что это «типичный третий».

По мере приближения к Серпухову места становились все более и более прелестными. Было в них что-то очень родное, неповторимое, напоминающее музыку Чайковского и живопись Левитана. Промчался столбик с табличкой «Лопасня». Начинались чеховские места. В тринадцати километрах от станции Лопасня находится усадьба Мелехово, в которой жил Чехов до переезда в Ялту. Мелехове было Ясной Поляной Чехова. В Мелехове и в близлежащих селах, Талеже и Новоселках, он на свои деньги выстроил школы для крестьян. Здесь он между прочим написал «На подводе»... Невозможно забыть образ сельской учительницы из этого потрясающего рассказа. Вот она едет на тряской телеге по весеннему бездорожью из города в школу, эта русская девушка, постаревшая, огрубевшая, измученная жизнью в избе, где ют сырости облезла даже фотография матери — единственное, что у нее осталось от лучших дней. Лошади входят в холодную воду разлившейся реки. Озноб пронизывает Марию Васильевну. Калоши, ботинки полны воды. Платье и шубка мокры. Подмочены сахар и мука. На переезде опущен шлагбаум. Надо дожидаться, пока не пройдет поезд. И вот, наконец, он пролетает, сверкающий курьерский поезд. Мария Васильевна, дрожа всем телом от холода, смотрит на его окна, горящие на солнце ярким блеском, «как кресты на церкви». И вдруг учительнице кажется, что на площадке первого класса стоит ее покойная мать. От восторга Мария Васильевна сжимает себе ладонями виски и кричит нежно, с мольбой; «Мама!» — и плачет неизвестно отчего... Да, никогда не умирали ее отец и мать. Никогда она не была учительницей. То был длинный, тяжелый, страшный сон. А теперь она проснулась... И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Она, дрожа, коченея от холода, села в телегу. И вот она снова едет на тряской подводе в свою школу, где ее ожидает грубый сторож, который бьет детей, и грубый попечитель, которого надо умолять о присылке дров...

Впереди мелькнуло что-то пестрое, нарядное. Девушка на велосипеде. Мы ее быстро нагнали. Легкое летнее платье, белые щегольские босоножки, длинные загорелые руки — нежные и в то же время крепкие, «спортивные». Сзади, на багажнике, портфель и связка книг. Ветер относит в сторону русые, выгоревшие на солнце волосы с белым целлулоидным бантиком. Девушка наклоняет голову от ветра, поворачивает к нам голубоглазое лицо. На крышечке велосипедного звонка вспыхивает серебряная звезда. И мы проносимся мимо. Кто она такая, эта девушка? Очень возможно — даже наверное! — она так же, как и чеховская Мария Васильевна, «сельская» учительница. Но преподает она в колхозной десятилетке, комсомолка или молодой член партии, занимается общественной деятельностью, весьма возможно — депутат местного Совета трудящихся, много читает, и когда ей нужно поменять в библиотеке книги, садится на свой велосипед и весело катит по асфальту в ближайший город.

Но вот впереди, слева у дороги, из-за леса показался хорошенький кирпичный домик с высокой черепичной крышей, террасой, орнаментированными карнизами. Перед домиком — цветник, ограда, позади — усыпанный свежим песком квадратный дворик. По углам дворика — службы, тоже под черепицей: небольшой, аккуратный сеновал с решетчатым деревянным мезонином, гараж, колодец и сторожка. Что-то южное, почти крымское, чувствуется в этой игрушечной

усадебке. Это домик линейного мастера, один из множества однотипных домиков, выстроенных вдоль всей магистрали.

Асфальт так гладок, машина тянет так легко, почти бесшумно, что если закрыть глаза, то кажется, что она стоит на месте, только слегка покачивается. Между тем наша скорость — семьдесят, а местами и восемьдесят. Нетрудно было бы выжать и все девяносто. Но ведь, в конце концов, мы никуда не спешим.

Теперь по сторонам бежали массивы свежего смешанного леса, в чаще которого мутно сияли косые полосы зеленого солнечного света. Это самые грибные места Подмосковья. Однажды, возвращаясь по этой дороге с фронта, я купил у колхозницы целую бельевую корзину чудеснейших грибов — белых, подберезовиков, груздей, маслят. Их некуда было положить, и я с большим трудом увязал их в шинель с отстегнутым хлястиком. То-то была радость дома, в Москве! Так мне на всю жизнь и запомнился этот лес.

Скоро большой дорожный указатель с надписью «Серпухов», четко выложенной зеркальными пуговичками, предупредил, что через десять километров мы въедем во второй крупный город на нашем пути.

Серпухов встретил нас, как и Подольск, высокими заводами, бензиновыми колонками, «гастрономами», поликлиниками, универсамами, усиленным движением грузовиков, автобусными остановками, газетными киосками — одним словом, всем тем, что присуще советскому промышленному городу, крупному районному центру. Ничего от уездного города бывшей Российской империи в нем уже, разумеется, не осталось. О старом, купеческом Серпухове напомнили разве только сохранившийся в центре города традиционный гостиный двор да несколько старинных церквей разного стиля и разных эпох, мелкие купола и шатровые колокольни которых выглядывали из зелени нижней части города, круто спускающейся к Оке. Но круглая обширная площадь вокруг гостиного двора давно уже реконструирована, залита асфальтом, покрыта яркими ковриками цветников и вообще как бы стала составной частью симферопольского шоссе. Посреди площади стоял большой указатель со схемой симферопольской магистрали и кружками главных пунктов, через которые нам предстоит проехать: Тула — Орел — Кромы — Курск — Белгород — Харьков — Запорожье — Мелитополь — Симферополь. Мы обогнули площадь и, повинуясь стреле, показывающей направление на Тулу, стали спускаться к Оке.

Машина стремительно сбежала вниз. Плавный поворот. И вдруг перед нами открылся такой простор, что мы ахнули. Город остался за нами справа, на горе. От подошвы этой горы на запад, сколько хватал глаз, до самого горизонта лежали заливные луга, огороды, камыши и песчаные отмели Оки. Мы увидели воздушные, решетчатые арки громадного железнодорожного моста, а рядом с ним другой мост, деревянный, по которому проходило наше шоссе. Машина вбежала на мост. Под ним медлительно, как бы неподвижно, текла широкая, полноводная река. Она выглядела темной, несмотря на яркое солнце. Лишь на горизонте, на изгибе, она зеркально голубела, отражая чистое небо. Но зато какими яркими красками, как отчетливо рисовались пароходная пристань, только что причаливший к ней пароход с алыми плицами, выкрашенные свежим суриком бакены фарватера — все эти подробности большой судоходной реки. В особенности же заманчиво блестела широкая полоса прибрежного песка, такого чистого, шелковистого, даже на вид горячего, что всем сразу захотелось купаться. Один лишь дядя Саша, видимо, не разделял этого желания. Пока раздавались беспорядочные восклицания: «Ух какой

мировой пляж!», «Купаться!», «Загорать!», «Нырять!», «Плывать!», «Где мои купальные трусики?» — дядя Саша с видом глухонемого продолжал бесстрастно жать на газ, и не успели мы глазом моргнуть, как машина съехала с моста, круто нырнула налево вниз, потом направо вверх, выскочила на прямую, и оказалось, что Ока уже далеко позади. В последний раз обольстительно блеснула вода — и скрылась.

Мы уже мчались по Тульской области мимо каких-то многоэтажных жилых корпусов, с продовольственным магазином и заводской столовой, мимо очень большой автобазы, во дворе которой стояло несколько десятков пятитонок.

Вот тебе и выкупались!

Промчались через большое село. Здесь уже все было какое-то свое, особое, тульское — основательное, немного неуклюжее: кирпичные избы, столетние деревья, серые дубовые бревна на зеленых дворах. Возле кузни с хозяйственно положенными на крышу железными обручами от бочки в порядке расставлены сельскохозяйственные машины, видимо только что вышедшие из ремонта: молотилка, конные грабли, большой старый трактор «ХТЗ» с высокой трубой. Даже облачко, появившееся в небе, было прочное, тульское.

Мало-помалу прошли леса, остались позади, за Окой. Сплошные ржаные поля живописно раскинулись по косогорам и холмам. Кое-где среди них одиноко темнели правильные тяжелые кроны дубов. Здесь уже не было ничего чеховского, левитановского. Продолжалась все та же средняя полоса России, но теперь это была уже природа Толстого, Поленова.

Солнце поднялось довольно высоко. Шоссе блестело, как алюминиевое. Этот текучий, лучистый блеск понемногу усыплял. Внимание притупилось, захотелось сладко вытянуться, расправить ноги. Вдруг машина стала сбавлять ход, плавно съехала на обочину и мягко остановилась среди некошеной травы, полной полевых цветов. В ту же минуту ветерок, все время освежавший в пути, упал, и нас вдруг с ног до головы охватили неподвижный зной, блаженная тишина летнего утра. Мы услышали пение птиц, жужжанье пчел.

— Что такое? В чем дело? Что случилось?

Но дядя Саша, не говоря ни слова, выключил мотор, взял свою полосатую дорожную подушечку и вышел из машины. Он с трудом доплелся до ближайшего кустика, посмотрел на нас с детской сонной улыбкой, с трудом ворочая языком, пролепетал:

— Десять минут, не больше, — и лег в цветы.

Проснувшись ровно через десять минут, он нам объяснил свое странное поведение. Оказывается, сидя долго за рулем без отдыха, шофер иногда начинает незаметно для себя засыпать. Приступ сонливости бывает так силен, что с ним никак невозможно справиться. А нет ничего хуже, чем заснуть за рулем, — верная катастрофа. Опыт показал, что в подобном случае лучше всего не пересиливать себя, а со сном бороться сном. Вместо того, чтобы мучиться и рисковать, рекомендуется просто остановить машину и заснуть. Как это ни странно, но совершенно достаточно десяти минут крепкого сна, чтобы полностью восстановить силы. Сон как рукой снимет.

Только теперь мы сообразили, что уже отмахали верных сто пятьдесят километров без остановки. Пока дядя Саша, раскинувшись среди ромашек и похрапывая, энергично боролся со сном, мы не

без удовольствия вылезли из машины и немного размялись. Тут мы сделали открытие. Шоссе, казавшееся нам, пока мы ехали, просто оживленным, теперь, как только мы остановились, оказалось полным самого бурного движения.

Сначала мимо нас со скоростью ста двадцати километров промчались с севера на юг два новеньких «Легковика» с пояском в шашечку — таксомоторы линии Москва — Симферополь. Они окатили нас взрывной волной воздуха, мелькнули ослепительно белыми кругами шин и, показав в задних окошках занавески с помпончиками, скрылись из глаз, точно провалились сквозь землю. Немного погодя вслед за этими аристократами автомобильной промышленности проследовало несколько степенных периферийных грузовиков-работяг с мешками и ящиками, на которых подпрыгивали и пели песни крепенькие тульские девчата-попутчицы. Затем с юга прошел набитый пассажирами автобус междугородной линии Москва — Тула. В дальнейшем на нашем пути постоянно и в большом количестве встречались автобусы разных местных междугородных линий: Тула — Орел, Харьков — Запорожье, Запорожье — Мелитополь и т. д. Пробежало с юга на север и с севера на юг несколько обыкновенных такси «Победа». Появился с юга длинный, яркий желто-синий автобус дальнего следования. Не нужно было читать табличку «Москва — Симферополь», чтобы понять, откуда он едет, — так загорелы и свежи были лица его пассажиров-курортников, явно возвращающихся по домам с Южного берега Крыма. Они улыбались нам из окон, украшенных все теми же традиционными занавесками, так что отныне слово «Симферополь» навсегда сочетается в моем представлении с белыми помпончиками. Проследовало также с севера на юг множество машин с московскими, ленинградскими и даже тбилисскими номерами — шоколадные, синие, бежевые, светло-серые «Победы», лихо уносящие на берег Черного моря таких же путешественников, как и мы. Они высовывались в окна и махали нам шляпами, газетами. Попадались семиместные вишневые красавцы и юркие «Москвичи», похожие на детей, не желающих отстать от взрослых. Я уже не говорю о местных колхозных «эмках» и районных «БМВ» — они встречались всюду.

— Павлик, смотри, Танька едет! — вдруг крикнула тень.

— Где Танька? Какая Танька?

— Ах, боже мой, Танька с Кадашевской набережной! Скорей смотри!

Женя запрыгала на месте, как через веревочку, и замахала руками:

— Танька! Танька!

Из заднего окошка серой «Победы» смотрела, расплыв в нос о стекло, девочка в соломенной шляпке, с такими красными щеками, что издали ее лицо напоминало яблоко «цыганку».

— Куда ты едешь? — закричал Павлик.

Девочка сделала какие-то странные движения руками, высунула язык, и серая «Победа» в ту же минуту скрылась за холмом.

— Она едет в Сталиногорск, к дедушке, — сказала Женя.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что это персональная машина Танькиного дедушки. Он на ней в прошлом году зимой приезжал из Сталиногорска на Танькин день рождения. Он у них знатный угольщик. Теперь они, наверное, повезли показывать сталиногорской бабушке Петьку.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что в машине сидела Танькина мама с Петькой на руках, а Танькин папа сидел за рулем, а рядом с Танькиным папой сидел Танькин дедушка в шахтерском мундире, с орденом Ленина.

— Счастливая! — сказал Павлик.

— Чем счастливая?

— Может, дедушка ее с собой в шахту возьмет. Интересно!

Над шоссе все время стояла как бы полоса ветра, и для того, чтобы перейти через натертое асфальтовое полотно на другую сторону, нужно было сперва очень внимательно посмотреть на юг и на север.

Оказалось, что мы остановились как раз возле небольшого пруда, скрытого в чаще орешника. Едва мы раздвинули кусты, полные сухой паутины, как перед нами оказался прелестнейший уголок. Большие серебристые ивы, со всех сторон тесно окружавшие пруд, красиво отражались в темной, таинственно неподвижной воде, и только посередине радостно блестело зеркальце неба, тронутое чуть заметной рябью. Ивы росли возле самого берега, а за ними густо зеленела сплошная стена лип и орешника, из чащи которых дышало прохладой. Но едва наши ребята стали рвать пучки еще совсем зеленых орехов, как на той стороне кусты зашевелились и один за другим выползли по-пластунски четыре пионера в белых полотняных шляпах и красных галстуках, необыкновенно ярко горевших среди зелени. Пионеры поднялись во весь рост и по-боксерски расставили ноги.

— Вы что здесь делаете? — крикнул один из них, приставив ладони ко рту.

— Орехи рвем, не видите! — ответила Женя.

— Так они ж еще неспелые.

— То-то и беда!

— Не слышу! — крикнул пионер, поднося ладони к уху.

— Мы говорим, что то-то и беда, что они зеленые.

— Ничего, скоро поспеют, можете подождать.

— То-то и беда! — вздохнула Женя.

— Опять не слышу. Кричи громче.

— Мы говорим, — закричала Женя, — что то-то и беда, что нам ехать надо!

— А куда вы едете?

— В Крым, — сказала Женя, горделиво оправив платье.

А Павлик быстро добавил:

- На «Победе», кабриолет с открывающимся верхом, чтоб было не так жарко.
- Ага! То-то и беда!
- Что вы там говорите? Мы опять не слышим.
- Мы говорим, что то-то и беда, что вы едете в Крым и останетесь без орехов.
- Ничего, будем через месяц возвращаться — они к тому времени как раз поспеют.
- То-то и беда!
- Не слышим!
- Экие вы крымские глухари! Мы говорим, что то-то и беда, что когда вы будете из вашего Крыма ехать назад на вашей «Победе» с открывающимся верхом, то мы уже тогда все орехи поедем.
- А вы нам хоть немножечко оставьте.
- То-то и беда, что вряд ли.
- Почему?
- Не удержимся.
- Хоть чуточку!
- Эй вы, крымские с открывающимся верхом, идите лучше к нам купаться!
- Нельзя. Мы сейчас должны в Крым ехать. Идите лучше вы к нам.
- То-то и беда!
- Что?
- Мы говорим, что то-то и беда, что нам тоже нельзя. Запрещается выходить с территории лагеря.
- А где ваш лагерь?
- Голубые ворота за деревьями видите? Это и есть наш лагерь. Там, где мы сейчас стоим, еще территория, а там, где вы стоите, уже не территория.
- А пруд?
- Пруд тоже до половины территория, а до половины на территории.
- А вам в лагере мороженое дают?
- По воскресеньям. А вам?
- А нам не дают.
- А как вас всех зовут?

Но как раз в это время дядя Саша, как нарочно, закончил борьбу со сном, и увлекательная беседа была прервана на самом интересном месте. С большим трудом удалось загнать наших ребят в машину, и под насмешливые восклицания: «То-то и беда!», несшиеся через пруд с «территории», мы покатали дальше, наверстывая упущенное время.

Само по себе шоссе, его твердое, гладкое полотно, было выше всяких похвал. Но все же дорога оказалась не из легких. Она все время поднималась и опускалась, как бы ныряя по волнообразным складкам местности, расположенным с востока на запад. Водителя это утомляло, но нам, пассажирам, даже очень нравилось. То и дело — и всегда неожиданно — открывались виды, один другого красивее. Горизонт то придвигался почти вплотную, то бесконечно удалялся. Полотно шоссе резко обрывалось. Где-то, не видимое нами, оно продолжалось по обратному склону, затем поднималось на новый кособок и снова становилось видимым, но уже более узким, чем раньше; потом снова обрывалось, невидимо продолжалось и опять высывалось, на этот раз совсем узенькой, почти вертикальной полоской. Оно сокращалось и растягивалось, как складная подзорная труба.

Наконец мы увидели в стороне сидящие на траве самолеты тульского аэродрома. Сама Тула началась широкой, бесконечно длинной улицей, двумя рядами крошечных одноэтажных домиков с такими же крошечными, совсем игрушечными садиками. Эти домики обращали на себя внимание колпаками над трубами. Сразу видно, что эти затейливые, разнообразные по форме колпаки, вернее — хорошенькие ажурные беседочки, с величайшим искусством выкованы из железа большими мастерами и любителями тонкого кузнечного дела. Это уже почти ювелирная работа. Ни в каком Другом городе вы не найдете на трубах таких изящных маленьких сооружений с флюгерами и стрелками, которые смело могут поспорить тонкостью исполнения с коваными венецианскими фонарями Возрождения. Казалось странным, что мимо этих домиков ездят по шоссе автомобили, а на перекрестке сидит в своем серебряном подстаканнике милиционер и регулирует уличное движение, управляя огоньками светофора. Это был каким-то чудом сохранившийся кусочек старой Тулы XVIII, а то и XVII века, рабочая слободка, где с незапамятных времен всегда жили в своих пряничных домиках целые поколения знаменитых на весь мир тульских оружейников. И, весьма возможно, именно в этом самом трехконном домике с весьма затейливыми наличниками, возле которого мы на минуту задержались перед семафором, некогда жил воспетый Лесковым легендарный тульский мастеровой косой Левша, так подковавший английскую стальную блоху, что она после этого перестала танцевать. Впоследствии потомки славного тульского оружейника подковали еще одну английскую блоху — генерала Деникина. Крепко досталось от них также и многим другим блохам, в особенности гитлеровским. В случае необходимости они еще раз смогут так подковать любую блоху — английскую или еще какую-нибудь другую, — что она надолго перестанет танцевать.

Эта своеобразная улица да еще разве древние кирпичные стены местного кремля, мелькнувшие из-за новых домов, — вот, собственно, все, что напоминало старую Тулу. Что же касается тульских самоваров и печатных пряников, то они хотя и продолжают существовать, но уже не являются славой города. Тульский чугун, тульская сталь, тульский уголь, тульский газ, тульская тяжелая промышленность, животноводство, сельское Хозяйство, хлеб — вот слава советской Тулы.

Мы проехали через многолюдный центр. Возле универсальных магазинов стояли покупатели, ожидающие открытия. Значит, еще не было одиннадцати часов. На бульваре няньки возили детей в колясочках. Горели на солнце цветники.

Повинуясь различным дорожным указателям, которые продолжали строго, но молчаливо руководить всеми нашими поворотами, мы наконец увидели большую синюю стрелу с надписью «Орел». Но не так-то скоро удалось нам расстаться с Тулой. Она продолжалась и за южной заставой. Сказать точнее, начиналась другая Тула — ее новые, послевоенные промышленные районы, частью уже выстроенные, частью еще в строительных лесах. Это было царство белого и красного кирпича, железной арматуры, песка, извести, щебенки. Мы попали в поток встречных и попутных грузовиков. Чтобы не наглотаться пыли, пришлось спешно закрыть окна.

В машине сразу стало душно. Повсюду в облаках пыли рисовались характерные профили строительных механизмов над кирпичными стенами новостроек, поднимающимися ступеньками вверх. Кварталы стандартных домов и бараков. Дощатые вышки и наклонные галереи бетонных заводов, сплошь покрытые зеленовато-серой цементной пылью. Траншеи, котлованы, штабеля чугунных водопроводных труб, черных снаружи и красных внутри... Не без труда выбрались мы из этого хаоса. Но и тут еще не было конца городу. Началась еще одна Тула — горняцкая. На горизонте появились пирамиды терриконов, шахтные строения — типично донбасский пейзаж, весьма странный в окрестностях Тулы.

Мы проехали мимо горняцкого поселка, состоящего из коттеджей с высокими черепичными крышами и яркими цветами в палисадниках — традиционной принадлежностью шахтерского быта.

Над косогором показались высокие колошниковые площадки тульских домен, а немного погодя мы увидели и самые домны, похожие на шахматные туры, затем черные цилиндры кауперов, литейные дворы, башни, и все вместе это напоминало какую-то цитадель, извергавшую на окрестности тучу грозного дыма. Среди яркого летнего дня это производило впечатление начала солнечного затмения, когда уже по холмам неотвратимо движется пепельная тень луны. Но шоссе повернуло в сторону, описало широкую дугу и, замелькав двумя рядами ослепительно белых столбиков, вынесло нас в свежую тень лиственного леса.

Облака белыми колоннами отражались в болотистой реке Воронке. Мелькнули мостики лодочной станции, их легкие, алюминиевые перильца. За рекой показались луга, массивы странно знакомого леса, кусок поля. И это ржаное поле песочного цвета тоже показалось знакомым. Вся природа вокруг была хорошо знакома с детства и являлась как бы составной частью представления о родной стране. Впереди, в перспективе очень широкой лесной аллеи, по которой бежало наше шоссе, мелькнула низенькая голубая ограда, клумба петуний и над ней что-то белое, испещренное сквозной тенью лип.

— Пойдите!

Дядя Саша резко затормозил, и машина с визгом остановилась как вкопанная возле гипсового бюста Льва Толстого с бородой, несколько свернутой на сторону. Здесь дорога раздваивалась. Главное шоссе шло дальше прямо за Орел, а ветка сворачивала направо, и на стрелке было написано: «Ясная Поляна 2.50 км». И хотя мы уже втянулись в путешествие и были охвачены нетерпеливым желанием безостановочно мчаться вперед, но проехать мимо Ясной Поляны и не поклониться могиле Толстого — было невозможно. Мы свернули направо.

Вот яснополянский парк, знакомые всему миру столбы у въезда: облупившиеся кирпичные столбы с куполообразными крышами, и Лев Толстой в круглой небольшой шляпе с поднятыми с боков полями едет верхом на маленькой лошадке.

Мы вышли из автомобиля возле открытого павильона с прохладительными напитками. Там уже стояло несколько автобусов и легковых машин, привезших экскурсантов. При входе в усадьбу — столик дежурной. Но вход бесплатный. Несмотря на будний день, вверх по аллее шло много народа. Слева мы увидели знаменитый яснополянский пруд, где Толстой любил летом купаться, а зимой бегал на коньках с деревенскими ребятишками в эпоху своего увлечения яснополянской школой. Толстой не дожил всего семи лет до крушения ненавистного ему государства рабов и господ, на развалинах которого возникло новое, еще никогда не бывалое в мире государство — свободный союз свободных народов — высшее воплощение правды и справедливости.

Известно, что Толстой был против революции. Но я почему-то глубоко убежден, что, будь он жив, он бы непременно принял Октябрьскую революцию. Он был слишком народный, слишком русский, слишком гениальный, чтобы не понять ту величайшую моральную высоту, на которую поднялся русский народ, совершивший в Октябре подвиг не только национального, но и всемирно-исторического значения. Как это ни трудно представить, но я почему-то глубоко уверен, что Толстой отказался бы от своей философии, увидев перед лицом величайшей правды Октября всю ее тщету.

Последний раз я был в Ясной Поляне летом 1943 года. Только что началось сражение на Орловско-Курской дуге. Я торопился на фронт. Но, как и сейчас, невозможно было по дороге не заехать в Ясную Поляну. Всюду еще виднелись свежие следы фашистского нашествия, хотя толстовский флигель был уже приведен в порядок и музей начал работать. Где-то неподалеку разместилась воинская часть, и по яснополянскому парку тянулись провода полевых телефонов.

Мы тогда побывали и в Музее и на могиле, но самое сильное впечатление произвел на меня именно пруд. День был такой же, как и сейчас: жаркий, летний, и в пруду купались солдаты, вероятно целая рота. Весь берег, заросший осокой, был усеян аккуратно сложенными гимнастерками, шароварами, кирзовыми сапогами, развешанными на кустах портянками и поясными ремнями. Молодые, остриженные под машинку белотелые солдаты с сильно загоревшими лицами, шеями и кистями рук, так что казалось, что они в лайковых коричневых перчатках, стоя по пояс и по горло в воде, мылись мылом и окунались, отчего вода вокруг них была в перламутровых разводах. Некоторые из солдат, закончив мыться, плавали по-крестьянски, сажонками, как бы разминаясь. А посередине пруд мирно сверкал на солнце, и во всей этой картине, в этих молодых, здоровых, сильных голых солдатских телах, в этом купанье перед боем было что-то в высшей степени толстовское, будто из «Войны и мира».

Теперь яснополянский пруд так же мирно сверкал посередине, но был пуст, неподвижен и кое-где по берегам зарос малахитовой ряской.

Мы пошли вверх по длинной сумрачной аллее очень высоких елей, черных и сухих от старости, и наконец почти вплотную приблизились к скрытому в зелени дому. Сквозь кусты старой, разросшейся сирени в два человеческих роста виднелись цветник и окна белого двухэтажного флигеля. И я снова испытал то ни с чем не сравнимое чувство, которое охватывает каждого человека, когда он приближается к этому месту. Казалось невероятным, даже страшным, что именно здесь, в этом самом доме, жил Лев Толстой, что именно здесь, за этими окнами нижнего этажа, в низкой, сводчатой комнате с простой крестьянской косой, висящей на выбеленной стене, на этом рыночном «венском» стуле с подпиленными ножками, близоруко сгорбившись над столом в своей блузе, почти всю свою жизнь писал он. Именно здесь ранними утрами, когда в доме все еще спали, своим тонким, но вместе с тем необыкновенно тесным, убористым почерком

он написал «Войну и мир», «Анну Каренину»... На клеенчатом диване, который теперь стоит в этом доме, он родился и навсегда ушел отсюда перед смертью, оставив на столе раскрытый том «Преступления и наказания».

Все долго молчали. Ребята притихли. Стоя в кустах столетней сирени, они смотрели на белый дом с тем неподвижным вниманием, которое полнее всего выражает у подростков душевное волнение.

— Ты его когда-нибудь видел? — тихо спросила Женя, глядя на меня снизу вверх небольшими прозрачными глазами.

— Нет, я его не видел.

— Не видел? — разочарованно сказала она.

— Да, но ты его мог видеть? — требовательно спросил Павлик.

— Мог. Когда он умер, мне было примерно столько же лет, сколько сейчас тебе.

— Столько же, сколько мне? — быстро сказал Павлик. — И ты его не видел? Почему же ты его не видел? Я бы его непременно видел. Я бы непременно пошел к нему и посмотрел.

И Павлик торопливым движением сорвал листик сирени и с досадой бросил.

— Какой же ты еще, в сущности, малыш! — сказала мама, нежно поправляя Павлику растрепавшиеся волосы.

Мы медленно обогнули дом, застекленную террасу с птичками и человечками, выпиленными в его дощатых баясинах. Под знаменитым «деревом бедных» с небольшим валдайским колоколом, прибитым к стволу, на скамейке сидели посетители, ожидающие открытия музея. Рабочие, колхозники, служащие, офицеры, юноши, девушки и школьники в пионерских галстуках, поодиночке, группами, иногда целыми семьями, с бабушками и маленькими детьми расположились вокруг дома в старых аллеях, полных тени и солнца. Некоторые принесли с собой в кошелках еду и завтракали на траве. Некоторые читали. Молодежь образовала кружки и, не теряя времени, перебрасывалась волейбольными мячами. Из чащи слышались звуки гитары. Но в этом не было ни малейшей фамильярности или тем более неуважения к памяти Толстого. Наоборот. Было что-то очень трогательное в свободном, простом, естественном поведении этих людей, для которых Толстой был не только великим писателем, художником, зеркалом русской революции, но также их земляком, хорошим знакомым, живым русским человеком, к которому они пришли попросту, как к хорошему человеку, в гости. И я думаю, что подобное отношение к нему народа было бы Толстому, будь он жив, только приятно, радостно и дорого.

Вдруг мое внимание привлекли обрывки какого-то разговора. В аллее стояла небольшая группа людей, среди них один немолодой военный с многочисленными орденскими планками на кителе, и я услышал слова:

— Да, да. И в Корее и всюду. Не понимаю, что вас удивляет? Это же настоящие гитлеровцы. Для них ничего не стоит убить ребенка, плюнуть на могилу гения. Вы думаете, они читали когда-нибудь Льва Толстого? Сомневаюсь. Во всяком случае, я бы этих животных вышвырнул из Советского Союза.

Я сразу понял, в чем дело. Речь шла о скандале, который на днях учинила кучка пьяных американцев в Ясной Поляне. Об этом писала «Литературная газета». Они вели себя здесь как в Луна-парке. Они ввалились в вестибюль, а потом и в комнаты музея и в присутствии множества народа, собравшегося на праздник тридцатилетия со дня издания декрета советского правительства об организации музея-усадьбы имени великого русского писателя, принялись громко «обсуждать» экспонаты. Каждая вещь интересовала их только как повод к глупым островам и издевательствам. Они демонстративно выражали пренебрежение к месту, где они находятся, к людям, которые создавали и берегут эту русскую и мировую святыню. Затем они отправились в парк и продолжали безобразничать даже возле самой могилы Толстого, а затем укатили назад в Москву, в американское посольство, работниками которого оказались.

Решив не дожидаться открытия музея, мы отправились на могилу Толстого. Довольно долго мы шли парком, потом свернули на дорогу, вымощенную еще во времена Льва Николаевича. Мы увидели большой двор, окруженный хозяйственными постройками — серыми от времени, бревенчатыми, несколько неуклюжими, но по-тульски основательными сараями, амбарами, навесами, видимо также построенными еще при жизни Толстого.

Широкие крепкие ворота были открыты, и так как стояла горячая сенокосная пора, во двор то и дело быстро въезжали грузовики, еле видные под громадными копнами еще не вполне высохшего, одуряюще пахучего сена, которое задевало нас по лицу.

Потом мы опять свернули в лес и, как нам показалось, бесконечно долго шли по его сыроватым аллеям, среди старинных лип и кленов, не пропускавших солнечных лучей, отчего свет в этом частом, заросшем лещиной лесу был необыкновенно ровный, рассеянный, а воздух казался изумрудно-зеленым. По аллее, невольно замедляя шаги, неслышно шли люди. Голоса постепенно, как бы сами собой, замолкали. Звуки глохли. Так что когда мы дошли до надписи «Зона тишины», то вокруг и вправду уже царил такое безмолвие, что не было слышно даже пения птиц. Мы чувствовали, что приблизились к могиле. Но ее все еще нигде не было видно. Аллея бесконечно продолжалась, поворачивала, и начало казаться, что мы сбились с дороги, заблудились и идем не туда. А лес вокруг становился все чаще, стволы лип все теснее, чернее, бархатистее. И вот мы в ровном зеленом свете увидели небольшую круглую площадку и фигуры людей вокруг могилы Льва Толстого — невысокого земляного надгробья, довольно длинного, обросшего травой, как пасхальная горка, величественного в своей неопишуемой простоте и бедности. Единственным украшением этой могилы был ряд крупных бело-розовых пионов, кем-то разложенных наверху, во всю ее длину...

...Когда мы возвратились к машине, летний день уже был в полном разгаре. В последний раз блеснул пруд. Мы поехали обратно, к бюсту Толстого на развилке, и повернули на Орел мимо красивых зданий новой яснополянской больницы, выстроенных, по моему представлению, на том самом поле, где некогда, возвращаясь с прогулки, Толстой увидел и вырвал, обернув руку носовым платком, тот самый знаменитый колючий куст татарника, которому мир обязан «Хаджи Муратом».

Шоссе продолжало неуклонно бежать на юг. Солнце перевалило за полдень и теперь уже светило с правой руки, а короткая тень машины скользила слева. Несмотря на открытые окна, было довольно жарко. Впрочем, после полудня по небу разбежались небольшие облачка. Их длинные тени кое-где лежали поперек шоссе, немного смягчая жару. Словом, погода нам

благоприятствовала. Вокруг уже совсем не было леса. Земля постепенно меняла цвет, становилась все более темной.

— Серый орловский чернозем, — заметила Женя и, вздохнув, прибавила: — До сих пор все еще третий. Ничего общего с московскими дерновыми и подзолистыми суглинками.

Действительно, мы увидели, что начинается чернозем, плоские полевые просторы Орловщины. Чем дальше на юг, тем хлеба становились суше, желтее. Они будто созревали на наших глазах. Но уборка еще не началась, и мы с нетерпением ожидали появления первого комбайна. Стали попадаться бело-розовые, совсем ситцевые, полосы цветущей гречихи, клеверные луга, и тогда в машине начинало пахнуть теплыми медовыми пряниками.

В одном месте шоссе сблизилось с железнодорожным полотном, обсаженным елками. Замелькали дощатые щиты ограждения, сложенные шалашиками. Домик путевого сторожа, корова, стог старого сена, похожий на грушу, даже с хвостиком воткнутого шеста, гибкое удилище поднятого шлагбаума, переезд, отгороженный выбеленными камешками, далеко на горизонте верхушка водокачки и серый кирпичик элеватора...

Я вдруг сразу узнал это место, вспомнил знойный июльский день восемь лет тому назад и несколько сот новых грузовиков, которые шли под Орел, в танковую армию Рыбалко, — нескончаемо длинную вереницу зеленых машин с круглым брезентовым верхом, окутанную душными облаками неподвижной пыли. Так же, как и сейчас, горячо и сладко пахла гречиха, сухо желтели неподвижные ржаные поля, пекло солнце, и у кювета посередине пыльного голого прутика цикория ласково светилась на солнце крошечная голубая корзиночка одинокого цветка.

Но все это было тогда охвачено грозной тишиной войны. Тишина стояла над землей, как бы предостерегая и заставляя все время вслушиваться в странные колебания воздуха над южным горизонтом, за которым шла Орловская битва. Иногда в стороне вдруг раздавались частые, торопливые железные удары и вставало черное облако, которое потом долго и мрачно висело над рожью, — это значило, что немецкий бомбардировщик-одиночка незаметно проскочил через линию фронта в наш тыл и торопливо высыпал серию бомб на какую-нибудь цель. И в эту минуту казалось, что солнце печет особенно сильно и его блеск имеет металлический оттенок.

Шоссе, по которому мы сейчас ехали, в то время было еще обыкновенной фронтовой рейдерной дорогой, наспех присыпанной мелкой щебенкой. Его часто пересекали другие военные дороги — рокады, — такие же рейдеры, прочно, быстро и прямолинейно проложенные саперами. Вместо красивых синих табличек с белыми названиями городов и сел, выложенными зеркальными пуговками, на шестах в разные стороны торчали дощатые стрелки с условными обозначениями, вроде: «Хозяйство Сметанина» или: «Закусочная 897», а вместо новеньких дачек линейных мастеров стояли будки контрольно-пропускных пунктов, и не синий милиционер стоял возле своего синего мотоциклета с целлулоидным щитом, а пыльный сержант в выгоревшей пилотке, с черной спиной, автоматом на шее и красным и желтым флажками под мышкой останавливал машину для того, чтобы проверить документы; и дорога не была веселой, длинной, уносящейся к морю и солнцу, а страшно короткой: она обрывалась где-то совсем недалеко, под Орлом, а дальше уже лежало то невообразимо странное, на первый взгляд пустынное, пространство, к виду которого человек никогда не может вполне привыкнуть и где решительно во всем, даже в запахе полевых цветов, разлито дыхание ненависти и смерти.

Места становились все более знакомыми. Я узнавал деревни. Тогда они лежали грудой пепла, под которым розовато тлели угля. Теперь они почти все заново отстроены. Но я безошибочно узнавал их по отдельному обгоревшему, черному дереву, по особенностям местности: по оврагу или по косогору, по кирпичной коробке с обвалившейся штукатуркой какой-нибудь разбитой церкви, на стенах которой уже вырос бурьян и даже целые деревца. Дорожные указатели с короткими, как бы обрубленными ветками закругленных стрелок указывали повороты на Белёв, Ефремов, Елец, Новосиль. Эти чудесные среднерусские названия до такой степени связаны с войной, что навсегда — по крайней мере для меня — утратили свое тургеневское звучание и стали просто «населенными пунктами» левого фланга великой Орловской битвы.

Я был так поглощен узнаванием местности, по которой проезжали, что забыл все на свете. Между тем за моей спиной шла какая-то своя, особая жизнь. Ребята, которые до сих пор весело болтали, толкались, шумно менялись местами или пели хором, вдруг стали разговаривать вполголоса, серьезно, отрывисто. Время от времени кто-нибудь негромко вскрикивал:

— Ой, что это?!

— Смотрите: опять!

— А вот еще!

Я обернулся и увидел, что они сидят, тесно прижавшись к матери, не отрываясь смотрят в окна. И я понял: они впервые видят развалины. До сих пор война была для них хотя и чем-то вполне достоверным, страшным, но все же отвлеченным. Теперь же они увидели собственными глазами землю, по которой прошла война, оставив всюду свои ужасные следы, — и это их потрясло. А мать зажигала спичку за спичкой, все время закуривая гаснущую сигарету.

Показался живописный старинный городок Плавск, тоже сильно потрепанный и еще не вполне восстановленный. Мы проскочили через него в мгновение ока. Но все же я успел узнать его сады, маленькие домики, заросшую зеленую речку Плавку, каланчу, пожарный сарай. А вот и развалины большой кирпичной церкви, еще не восстановленный старинный деревянный трехэтажный дом и вековые деревья за ним. Все это было так знакомо, что я бы не удивился, если бы за кирпичной отвалившейся стеной вдруг увидел танк, покрытый маскировочной сетью. Мы выехали из Плавска, и тотчас зеркальные пуговки указателя предупредили, что через восемьсот метров будет заправочная станция, и в тот же миг мы увидели ее высокие черепичные крыши, белые стены и несколько бензиновых колонок.

Мы уже проехали без заправки около трехсот километров. Не мешало долить бак. Не без некоторой тайной тревоги дядя Саша въехал на асфальтовую площадку станции и затормозил возле колонки. Дело в том, что он принципиально не взял с собой никаких запасных баков, всецело положившись на единодушные показания знакомых шоферов, что на симферопольской трассе через каждые двести километров — заправочная станция. «Но... кто его знает! — было написано на лице дяди Саши. — И вообще как бы чего не вышло!»

На площадке не было ни души. Новенькие красные колонки загадочно молчали.

— Эй! — слегка дрогнувшим альтом крикнул дядя Саша, тревожно высунувшись в окно. — Тут кто-нибудь есть?

— Есть, — ответила девушка в рабочем халате, выходя с красным ведром из павильона с окошечком кассы и расписанием автобусного движения.

— Станция открыта? — спросил дядя Саша, нервно улыбаясь.

— Открыта, — ответила девушка.

— Колонка работает?

— Работает.

— А, простите, бензин есть?

— Есть.

Наступило тягостное молчание. Дядя Саша нервничал все больше и больше.

— Винти ли, — сказал дядя Саша, торопливо надевая очки и стараясь не выдать своего волнения.

— Мы, винтили, следуем, так сказать, по вашей трассе из Москвы в Симферополь и хотели бы заправиться, если это, конечно, возможно.

— Пожалуйста, — равнодушно сказала девушка и переложила ведро из одной руки в другую.

— А что для этого необходимо сделать?

— Платите в кассу деньги и заправляйтесь.

— Гм, — сказал дядя Саша многозначительно и вышел из машины с сатирическим выражением лица. — Посмотрим-с... Посмотрим-с...

Заправка произошла до смешного быстро и отличалась от московской лишь тем, что здесь надо было платить деньги в кассу, а в Москве как-то там по-другому. Оказалось, что нам пришлось долить всего двадцать пять литров. Значит, на двадцати пяти литрах мы проехали около трехсот километров. Это был приятный сюрприз. Оказывается, наша лошадка потребляла горючего даже меньше, чем ей полагалось по заводской норме. Дядя Саша аккуратно записал в книжечку расход горючего, километраж, пожал плечами, пробормотал:

— Превосходно, — и со спокойной совестью, уже не опасаясь за дальнейшее, поднялся по бетонной лестнице на открытую террасу, где мы ели превосходную сметану, поданную нам в чайных стаканах, со свежими плавскими сайками.

Заправочная станция состояла, кроме известных нам колонок и кассы, еще из двух больших белых, как сливки, коттеджей под высокими черепичными крышами с очень высокими плоскими трубами, которые обращали на себя внимание странной, но красивой формой: их верхняя часть из красного небеленого кирпича расширялась, образуя нечто вроде ступенчатого раструба, что отчасти напоминало ботфорты. Они стояли, окруженные цветниками и газонами, друг против друга по сторонам асфальтированного двора с двумя въездами. В правом доме, по-видимому, жил административный персонал, а в левом помещался буфет с открытой террасой под такой же высокой черепичной крышей, без чердака, с красивыми потолочными балками, разделанными под дуб. На террасу вела широкая бетонная лестница. Под балками над столиками висели деревянные крестообразные люстры с четырьмя рожками в виде блюдечек. Самый же буфет находился внутри дома. Под согнутым стеклом прилавка стояли вазы с бутербродами,

пирожками, конфетами, несколько тарелочек с холодными закусками, маленькие штабеля сложенных, как дрова, сигарет и шоколадных батончиков. За прилавком на полках были расставлены ряды бутылок со звездочками и без звездочек, увенчанные букетами цветов и неизбежным набором советского шампанского — сухого, полусухого, сладкого, полусладкого, очень сухого и до последней степени сладкого. Одним словом, соблазн был велик. Но, чувствуя себя отчасти как бы уже в доме отдыха, мы ограничились сайками и сметаной.

С террасы открывался широкий вид на окрестности. Но мы уже так привыкли все время ехать, что этот вид показался нам слишком пресным: он был неподвижен! И мы поскорее сели в машину.

Дальше пошли места, еще более связанные с войной. Я узнал населенный пункт Чернь, где тогда находился штаб фронта. Ударив со стороны Новосилия, танковая армия Рыбалко только что взяла Золотарево, последний город перед Орлом. Прямо из пекла сражения, которое количеством техники, плотностью огня, как говорили, вдвое превышало Сталинградскую битву, я к вечеру прилетел на армейском «У-2» в эту самую Чернь с тем, чтобы тут пересечь на фронтовую «эмку» и завтра успеть в Москву, в редакцию «Правды», с корреспонденцией о нашем наступлении на Орел. Младший лейтенант посадил своего «огородника» где-то тут, не долетая до Черни, возле самой дороги, чуть ли действительно не на огороде, высадил меня, откозырял и сейчас же, не выходя из машины, улетел обратно в пекло. Я остался один в своих пропотевших полотняных сапогах, с портфелем под мышкой. Ни один регулировщик не хотел сказать, где находится штаб фронта. Я бродил по пустым дорогам, пока уже в сумерках меня не подобрал пикет особого отдела. Особисты меня узнали, посадили в свою «эмку» и отвезли по назначению. Все это было где-то здесь, и мне казалось, что я даже узнал огород возле шоссе, где меня высадили из самолета.

— По-моему, это было именно здесь, — сказал я, повернувшись к жене, и она сразу поняла, о чем я говорю.

— А помнишь, в каком виде ты тогда приехал с фронта домой? — сказала она с живостью. — В ушах, за воротником, внутри фуражки, даже в сапогах — всюду земля, руки черные, документы в нагрудном кармане насквозь пропотели...

— да, папулечка, ты потом два дня мылся и никак не мог отмыться, — сказала Женя, нежно положив мне на плечо руку.

— Ну?

— Конечно! Мы еще все время грели для тебя на кухне в большой кастрюле воду.

— И ты еще потом долго ничего не слышал, как глухой, и у тебя болели барабанные перепонки, — сказал Павлик быстро.

— Ну, это ты вряд ли помнишь, — заметила мама. — Тебе уже после рассказывали.

— Почему это Женька помнит, а я не помню? — обидчиво сказал Павлик.

— Потому, что ты еще тогда был слишком мал.

— Не так уж и мал.

— Всего пять лет.

— Пять, шестой, — поправил Павлик. — Но я все равно отлично помню. Помню, как папа приехал на грузовике, и как вместе с ним заходил сержант-танкист, и как папа привез новый трофейный пистолет. Верно, папочка, что ты тогда привез трофейный пистолет, маленький маузер? И еще привез осколок?

Но я не успел ответить, так как зеркальные пуговички известили, что скоро Мценск, а не доезжая до него километр — станция обслуживания с гостиницей. Затем показался цветничок, такой же самый, как перед Ясной Поляной, только с бюстом Тургенева. Стрелка показала поворот направо, в имение Тургенева Спасское-Лутовиново. Но так как не было указано расстояние, то мы не решились свернуть. И совершенно напрасно. Как выяснилось потом, мы сделали ошибку, выехав из Москвы так рано. Мы свободно могли выехать после обеда, с таким расчетом, чтобы попасть в гостиницу Мценской станции обслуживания к вечеру и там заночевать. А теперь было всего три часа дня, и можно было бы съездить в гости к Тургеневу. Но мы тогда еще не знали, что до следующей станции обслуживания с гостиницей — Зеленый Гай — свыше семисот километров. Это обстоятельство нас и подкосило. Но об этом потом. Теперь же, не предвидя впереди никаких затруднений, мы лихо подкатили к станции обслуживания Мценск. Мы увидели ее и прямо-таки ахнули от восхищения.

По сравнению с домиками линейных мастеров и заправочными станциями, о которых уже упоминалось, это была вилла. И какая! Большая, белая, как лебедь, с высокой прямоугольной башней, накрытой карточным домиком легкой черепичной кровельки с выступающими краями, издавела заметная над тургеневскими полями. Обширный асфальтовый двор, газоны, много цветов, перед фасадом с аркой главного входа — большой круглый бассейн с фонтаном, сбоку — вход в ресторан и открытая терраса со столиками. Рядом, за оградой, был другой, еще более обширный, асфальтовый двор — собственно станция обслуживания: гараж с четырьмя громадными створчатыми воротами, ремонтные мастерские, ряд электрических заправочных колонок и собственная электрическая станция с высокой черной трубой, питающая ток эти бензоколонки, водопровод и вообще все большое хозяйство станции. Позади гаража был третий асфальтовый двор со вторым бассейном — для мытья машин — примерно такой же величины и формы, как бассейн для плавания. Но и это — еще далеко не все. По другую сторону гостиницы и ресторана было выстроено несколько длинных жилых двухэтажных домов с запасными общежитиями для проезжающих, на тот случай, если все номера в гостинице окажутся занятыми. Все это нарядное, ослепительно сияющее на солнце белыми стенами, красными высокими черепичными крышами и такими же самыми оригинальными трубами, как и на всех прочих строениях трассы.

Мы вышли из машины и стали совещаться, что же нам теперь делать: остаться здесь до завтрашнего утра или ехать дальше? Остаться до утра — значило бессмысленно потерять массу времени. Ехать дальше — неизвестно, где же, собственно, ночевать. До Харькова едва ли дотянем до темноты, а ехать ночью не хотелось, да и устанет дядя Саша.

Наконец приняли решение: пока остановиться здесь, как следует пообедать, заправить машину, сменить масло, несколько часов поспать, а там будет видно.

Только теперь мы почувствовали, что, в сущности, очень устали от неподвижного сидения в машине, от быстрой смены пейзажей, от блеска шоссе. Дети, разморенные жарой, шатались и готовы были стоя заснуть. Впрочем, увидев бассейн, цветники, ресторан, девочки несколько

оживились, стали оправлять смявшиеся платица и принимать позы, соответствующие роскоши обстановки. Что касается Павлика, то он откровенно спал, стоя и держась за мамино плечо.

В небольшом вестибюле, уставленном фикусами и глубокими креслами, устланном коврами и увешанном картинами, симпатичная молодая особа записала наши имена в толстую книгу, затем заперла на ключ наши паспорта в письменный стол и поручила другой, не менее молодой особе развести нас по номерам.

Мужчины, то есть дядя Саша, Павлик и я, были приведены в большой номер первого этажа с пятью свободными железными пружинными кроватями, три из которых мы и заняли. Дам, то есть маму и двух девиц, отвели по лестнице на второй этаж, в номер-люкс. Отсюда из окна с веселыми занавесками открывался вид на бассейн. Везде — в коридорах, на лестницах, в комнате отдыха — было очень прохладно и пахло свежей масляной краской.

Мы основательно вымылись, вычистили зубы и, открыв постели, задернули занавески. Что же касается машины, то она тоже получила особое место в гараже и поступила под охрану специального сторожа. Мы проспали не более двух часов, но что это был за блаженный, освежающий сон!

Было уже пять часов, и мы отправились в ресторан. Пока мы спали, на станцию прибыло несколько маршрутных автобусов, таксомоторов и частных машин. Теперь они стояли в ряд перед бассейном, пустые, с еще не остывшими моторами, пахнущие раскаленной на солнце краской, дизельным маслом, бензином, каучуком, кожей — всеми острыми возбуждающими запахами автомобиля, сделавшего длинный пробег, и над ними дрожал горячий воздух. Во внутреннем помещении ресторана все столики были заняты обедающими пассажирами и шоферами. Девушки-подавальщицы с наколочками на голове, одетые по мценской моде в преувеличенно коротенькие юбочки, что делало их еще моложе, носились туда и сюда с дымящимися тарелками щей и ромштексов. В воздухе стоял гул голосов, как на вокзале. Посетители ресторана делились на несколько категорий. Самая многочисленная была — по летнему времени — курортники, пассажиры автобусной и таксомоторной линии Москва — Симферополь, а также граждане, едущие в дома отдыха и санатории Крыма на своих машинах, вроде нас. Среди последних особенно выделялись энтузиасты автомобильного сообщения, едущие по этой магистрали на своих «Москвичах» и «Победах» во второй или даже третий раз, так сказать, старые автомобильные волки, молодые инженеры, лауреаты с женами, группы стахановцев, путешествующих в складчину, знатные угольщики в парадных мундирах, с орденами, офицеры-летчики. Многие из них уже были между собой знакомы и громко обменивались приветствиями.

— Здравствуйте, Николай Яковлевич, как ваш «Москвич»? Бегаёт?

— Рад снова приветствовать вас на трассе. «Москвич» чудесно бегаёт, дай бог ему здоровья. А ваша «Победа»?

— То же самое. Я ее весной перекрасил в неслыханный синий цвет. Где изволили сегодня ночевать?

— В Зеленом Гае. А вы?

— А мы, знаете, на берегу речки, под звездами. Наловили рыбки, разложили костер... Красота! Советую и вам.

— Примем к сведению.

Но было также немало пассажиров, едущих по делу: геологов, агрономов, радиотехников, представителей заводов, направляющихся в машинно-тракторные станции. Возле буфета стоял маленький независимый нахимовец в сдвинутой на глаза твердой бескозырке и ел большой бутерброд с любительской колбасой, чопорно запивая его грушевым напитком.

Я обратил внимание на двух очень молоденьких и очень розовых девушек в легких белых пылевичках, которые, придерживая ногами свои новенькие фибровые чемоданы с висящими на веревочке никелированными ключиками, сидели за столиком, неумело пересчитывали деньги и горячо шептались над меню, не зная, что выбрать — ромштекс или бефстроганов. По их круглым, испуганным глазам было сразу видно, что они в ресторане первый раз в жизни.

На открытой террасе, где пекло предвечернее солнце, мы дождались свободного столика и спросили окрошку и рубленые котлеты. Мороженого не оказалось.

— Товарищи, да что же это такое?! — воскликнул Павлик, горестно крутя под столом руки.

— Дети с утра сидят без мороженого, и никто не обращает внимания, — грустно заметила Женя.

— Когда же, наконец, будет мороженое, я не понимаю?!

— Потерпите до Орла, — заметила мама педагогическим тоном.

— Граждане! — вдруг со странной непоследовательностью заявил Павлик, и глаза его сверкнули.

— Мне пришла одна идея. Давайте купаться в бассейне!

— Только и всего?

— Да. А что?

— Ничего. Пусть она уходит и больше не приходит.

— Кто?

— Идея.

Пока дядя Саша менял масло и заправлялся, а Павлик блудливо ходил вокруг бассейна, я с наслаждением курил, думал о Тургеневе, близ владений которого все это происходило, и вспоминал стихи Полонского, обращенные к Тургеневу в Париж. Как это у Полонского?

«...Но — может быть (кто знает?!), грустною мечтой перелетел ты в край родной, туда, где все тебя тревожит, и слава и судьба друзей, и тот народ, что от цепей страдал и — без цепей страдает... Повеся нос, потупя взор, быть может, слышишь ты — качает свои вершины темный бор — несутся крики — кто-то скачет — а там, в глуши, стучит топор — а там, в избе, ребенок плачет... Быть может, — вдруг перед тобой возникла тусклая картина — необозримая равнина, застывшая во мгле ночной. Как бледно озаренный рой бесов, над снежной пеленой несется вьюга; — коченеет, теряясь в непроглядной мгле, блуждающий обоз... Чернеет, как призрак, в нищенском селе пустая церковь; тускло рдеет окно с затычкой — пар валит из кабака; из-под дерюги мужик вздыхает: «вот те на!» или «караул!» хрипит со сна под музыку крещенской вьюги. Быть может, видишь ты свой дом, забитый ставнями кругом, гнилой забор, — оранжерею, — и ту заглохшую аллею, с неподметенною листвою, где пахнет детской стариной...»

А сам Иван Сергеевич следующим образом писал о своем Спасском-Лутовинове:

«Крыши все раскрыты, заборы повалились, нигде не видать ни одного нового строения за исключением кабаков...»

Теперь же в укрупненном колхозе имени И. С. Тургенева семилетняя школа, клуб, библиотека, лекторий, медицинский пункт, новые дома, общественные постройки, молодые посадки. Более трехсот пятидесяти детей спасских тружеников в советские годы стали агрономами, учителями, врачами; инженерами, агролесомелиораторами, геологами, художниками.

Во двор въехала «эмка», обогнула бассейн и остановилась в ряду других машин. Водитель, молодой широкоплечий парень в пыльном пиджаке внакидку и винно-красной полосатой сорочке, вышел из машины, взял с заднего сиденья большой букет полевых цветов, бережно его встряхнул, поправил на лацкане пиджака целлулоидную орденскую планку и строгим, военным шагом направился к Жене и Инне, которые сидели за столиком рядом со мной, сортируя различные полевые растения, собранные во время остановок для гербария.

— Представитель колхоза. Здравствуйте, девушки Как доехали?

— Спасибо, ничего себе, — ответила Женя, с испугом глядя на букет, который протягивал молодой человек.

— Не стесняйтесь. Берите. Это у нас так полагается. Обедали?

— Да, спасибо. Съели окрошку и ромштекс.

— Вот это, девушка, зря. Напрасно тратились. Для вас приготовлен выдающийся обед. Машина подана. Поехали!

— Куда поехали? — пролепетала Женя, вопросительно глядя на маму. — Мы не можем. Нам надо ехать в Крым.

— В Крым? — молодой человек напряженно сдвинул брови. — Позвольте, а вы, собственно, кто такие?

— Мы девочки.

— Из Тимирязевки?

— Нет. Я, например, из пятьсот восемьдесят шестой, а она из балетной.

— Тогда, значит, виноват, произошла ошибка. Мне надо девушек из Тимирязевки, практиканток.

— Это мы из Тимирязевки! — закричали, выбегая из внутреннего помещения ресторана, девушки в белых пылевичках. — Это мы практикантки.

— Точно. Здравствуйте, девушки! Как доехали? Позвольте от имени нашей молодежной организации преподнести вам эти скромные полевые цветы. Обедали? Зря тратились. Вас ждет выдающийся обед! Берите букет и давайте чемоданчики. Машина подана. У нас не пропадете. Вас как звать?

— Зина и Даша.

— А меня, простите, Виктор. Поехали.

И через минуту «эмка», обогнув бассейн, выехала из ворот станции, увозя два беленьких пылевичка, четыре русских косички, связанных на затылке кренделем, два фибровых чемодана с висящими никелированными ключиками, красивого молодого представителя с орденской планкой на лацкане пыльного пиджака и громадный букет цветов.

Мы урегулировали свои счета с гостиницей, получили паспорта, в которые были вложены квитанции, и спросили дежурную девушку, где она рекомендует нам остановиться на ночлег. Она погрузилась в размышления, видимо подсчитывая в уме километры и соображая время. Потом она заглянула в какую-то таблицу.

— До Зеленого Гая вы, безусловно, не дотянете.

— Не дотянем, — подтвердил дядя Саша с любезной улыбкой.

— В таком случае придется вам ночевать в Обояни. Там заправка и буфет...

— А гостиница?

— Гостиница, конечно, не такая, как у нас, — несколько замямвшись, сказала девушка, — но все-таки спать можно.

— Ну, если немножко менее шикарная, чем у вас, так это совсем не так плохо, — хором сказали мы.

— Не такая шикарная, — повторила девушка, озабоченно глядя на ребят.

И через две минуты мы уже мчались по шоссе через Мценск. Здесь еще сильнее были заметны следы войны: заросшие бурьяном пустыри и кучи строительного мусора, обвалившиеся стены, старые воронки снарядов, остатки блиндажей, коробки домов. Ребята опять перестали вертеться, затихли. И по их серьезным лицам снова как бы пролетела тень. Но все же город был так красив по своему местоположению, что мы невольно залюбовались. Мы еще находились под впечатлением его старинной, не то купеческой, не то монастырской красоты, как уже въезжали в Орел.

Только теперь я вдруг понял, почему так приятно путешествовать именно в автомобиле. Ведь это в конечном счете не быстрее, чем на поезде, и, конечно, не так удобно, как в хорошем вагоне. О самолете и говорить нечего. Лучший способ сообщения — безусловно самолет: сказочно быстро, удобно, чисто и, если принять во внимание экономию времени, не так уж и дорого. Но автомобиль имеет то преимущество, что вы все видите. Поезд сужает кругозор. Города проплывают мимо вас в образе почти одинаковых станционных зданий и привокзальных площадей, то есть самого неинтересного, что есть в городе. Самолет, напротив, чрезмерно расширяет кругозор и так уменьшает подробности, что дает представление о местности, над которой вы летите, чисто географическое, почти условное. Автомобиль же пробегает непосредственно по деревенской улице, пересекает колхозное поле — колосья почти задевают радиатор, — кружится по кварталам городов, проскакивает через центральные площади, огибает скверы, словом, дает возможность увидеть вблизи то, что вы никогда не увидите из окна железнодорожного вагона, а тем более самолета.

Мы проехали через Орел не останавливаясь. Шестичасовое солнце, все еще высокое, но уже чуть желтоватое, жарко освещало большой город, наполовину разрушенный и на три четверти уже восстановленный. Пустые коробки домов стояли рядом с новыми зданиями — жилыми, правительственными и торговыми. Именно эти новые, большие, многоэтажные здания в основном и определяли лицо города. Чувствовался особый, послевоенный, совершенно определенно выраженный архитектурный стиль — основательный, крепкий, хорошо продуманный.

Мне кажется, что до войны у нас как-то недостаточно обращали внимание на детальную отделку домов. Новые орловские строения радуют тщательной отделкой. Особенно хороша их окраска — яркая и вместе с тем строгая. Преобладали тона глубокие, бархатистые: вишнево-красный, темно-зеленый, оранжевый. В соединении с белизной карнизов, колонн и широких гипсовых наличников, окружающих квадратные большие окна и дубовые штучные двери подъездов с начищенной медью ручек, все это производило впечатление веселое, нарядное, хотя и солидное.

Над множеством еще не вполне достроенных домов, над их кирпичными стенами, высоко в небе висели стрелы кранов. Запах горячего битума, известковая пыль над глухими ограждениями строительных площадок, вывороченные трамвайные рельсы, дорожные катки, с тяжелым пытением ползущие по паюсной икре дымящегося асфальта, говорили, что строительный сезон в самом разгаре.

Всюду было много зелени, цветников, старых деревьев. Возле кинематографов, где шли те же самые картины, что и сегодня в Москве, уже стоят толпы зрителей. Жарко блестя на солнце, с особенным летним скрежетом и визгом поворачивал трамвай. За оградой мелькнули гипсовые статуи, голубые павильоны — по всей вероятности, городской сад.

— А мороженое? — простонал Павлик.

— Мороженое будет в Курске, — сквозь зубы процедил дядя Саша и нажал на газ. — И так опаздываем.

Повинуясь стрелке, показавшей направление на Курск, машина вырвалась из центра и понеслась мимо старинных дворянских и купеческих особняков с гербами и без гербов, — быть может, мимо того самого «Дворянского гнезда», где некогда по аллее шла Лиза Калитина, — тенистой улицей, по-губернски широкой, очень длинной, которая и вынесла нас из города снова на простор орловских полей.

Шоссе оставалось все таким же безукоризненным. Только теперь оно почернело от солнца и восково лоснилось, как оселок, на котором правят бритву. По кромке шоссе разрослась густая трава, полная луговых цветов, и ее косили рабочие дорожного управления. Мы проехали древние Кромы.

— До сих пор третий, — глядя в окно, снова загадочно сказала Женя. — Среднерусская возвышенность...

В этот миг дядя Саша внезапно притормозил, машина вильнула. Шоссе, не торопясь, переходила толстая пестрая клушка, окруженная желтыми цыплятами, которые катились вокруг нее, как шерстяные шарики. Пропустив это трогательное воплощение материнства и младенчества и слегка про себя ругнувшись, дядя Саша повел машину дальше. Я скопил глаза на красный циферблат и увидел, что стрелка спидометра дрожит у цифры восемьдесят. Хотелось успеть в

Обоянь до наступления темноты. Однако держать восемьдесят на участке Кромы — Курск оказалось невозможно. Бурное развитие колхозного животноводства встало серьезным препятствием на пути нашего дальнейшего продвижения на юг. Клушка с цыплятами оказалась, так сказать, лишь первой ласточкой. Мы не учли, что это был час, когда скотина возвращается домой. Каждая деревня, каждая колхозная ферма, мимо которых мы пытались проскочить с наивысшей скоростью, — а деревни и фермы, как нарочно, стояли очень близко одна от другой, — бросали против нас весь наличный состав своих конюшен, коровников, загонов и птичников. То и дело приходилось тормозить, пропуская отары овец, стада коров, косяки лошадей. Во все стороны из-под радиатора разлетались хлопотливые куры. Скользя и падая по натертому асфальту, цепочкой переходили дорогу гуси; визжали и терлись друг о дружку застигнутые врасплох свиньи; стуча твердыми ножками, мелкой рысцой трусили перед машиной не имеющие понятия о правилах уличного движения бараны. Только умные лошади вели себя по-человечески и по мере возможности старались держаться правой стороны.

Что же касается коров, то они не обращали на нас ни малейшего внимания, весьма напоминая ту даму из чеховской записной книжки, которую в театре, на премьере новой драмы, сосед попросил снять шляпу, так как она заслоняла сцену; дама не обратила на это ни малейшего внимания; тогда сосед жалобно сказал: «Сударыня, но поймите мое положение, я автор пьесы». «А мне все равно», — ответила дама. Примерно в таком духе вели себя коровы. Одна из них, толстая, наевшаяся, смотрела на дядю Сашу красивыми, ничего не выражающими глазами. Лишь после того, как дядя Саша дал пять гудков, из которых последние три были очень нервные, корова помахала хвостом и медленно перешла дорогу, полная собственного достоинства и сознания своего выдающегося положения в советском животноводстве.

Такого рода постоянные задержки выбили нас из графика. Но мы не сердились. Слишком приятна была эта наглядная картина изобилия.

А вокруг продолжали бежать поля уже почти совсем созревшего хлеба и разнообразно живописные уголки южной части Среднерусской возвышенности.

Солнце уже опустилось почти к самому горизонту. Очень длинная тень машины бежала слева, скользя и ныряя по ржаному полю — чистому, без единого василька. Алый свет нежно заливал окрестности — ветряную мельницу, шиферные крыши машинно-тракторной станции, элеваторы.

— Куры, — сказала Женя.

— Что куры? — тревожно воскликнул замечтавшийся дядя Саша.

— Нет, это деревня так называется — Куры.

Действительно, на синей табличке было написано слово «Куры», а потом появилась и самая деревня. Мы еще поострили по поводу того, что по ее улице разгуливало громадное количество самой разнообразной домашней птицы, но, как нарочно, не было ни одной курицы. Прошло минуты две.

— Бутылки! — закричал Павлик.

И точно. Синяя табличка сказала, что мы въезжаем в деревню «Бутылки». Следующая деревня, к общему восторгу, оказалась «Сайки».

— Ну, братцы, — заметила мама, усмехаясь, — теперь еще «Рюмки» — и можно садиться за стол.

Мы стали вслух гадать, какую следующую деревню пошлет нам бог. Ребята кричали, перебивая друг друга:

- Вилки!
- Тарелки!
- Пироги!
- Закуски!
- Гости!

Но фантазмагория кончилась и дальше пошли ничем не замечательные «Воскресенские», «Троицкие», «Выселки» и прочие.

В Курск мы въехали, когда уже солнце село. Город пострадал от войны, пожалуй, еще больше, чем Орел. Я помню, как выглядел Курск вскоре после освобождения. Это были сплошные развалины. Теперь я увидел, что он так же, как и Орел, почти весь восстановлен или, вернее сказать, заново отстроен. При въезде в город мы увидели множество дорожных машин, заканчивающих свою дневную работу. Возле остановки стоял автобус линии «Харьков — Москва». Против сквера я узнал большое красивое здание амбир — желтое с белыми колоннами, в котором во время войны помещался какой-то армейский госпиталь. Тогда здание было основательно побито. Теперь оно заново отремонтировано, и сквер перед ним дышал свежей зеленью. Потом на месте почти полностью уничтоженного центра мы увидели большой архитектурный ансамбль того же нового, послевоенного стиля, который заметили еще в Орле. Обращал на себя внимание великолепный огромный дом — вишнево-красный с белым, чем-то напоминавший здание Моссовета, во всяком случае такой же видный, нарядный. Центральная площадь, залитая асфальтом, легковые машины на стоянке, кованая ограда городского сада, театральные афиши, магазины, поликлиники, многоэтажная гостиница «Курок» с рестораном в первом этаже, множество новых уже выстроенных и еще строящихся жилых зданий, мало в чем уступающих столичным, на месте декадентских сооружений дореволюционного купеческого Курска — все это мы уже видели в других городах, по которым проезжали. Но было и нечто новое. Чувствовалось что-то неуловимо южное в деревьях перед домами, в открытых балконах над подворотнями, в большом количестве парикмахерских, в уличном вечернем гулянии. Южное было также и в том, как быстро после заката темнело. Было девять часов вечера — время, когда летом в Москве еще совсем светло и долго еще не темнеет, а здесь уже по всему городу на темной горе зажглись огни, и когда мы выехали на окраину, то пришлось включить фары.

Закат чуть брезжил. На его светлом зеленоватом фоне виднелись черные профили заводов, чертежи высоковольтных столбов, поднятый шлагбаум железнодорожного переезда, но все остальное небо было уже совсем темным, ночным, и невысоко над темными полями, откуда тянуло прохладой, вкрадчиво мерцала и переливалась, как слеза, вечерняя звезда Венера. Стороной показались красные огоньки и вращающийся маяк аэродрома.

При свете фар шоссе сразу приобрело вид таинственный, даже фантастический. Пуговицы дорожных указателей вдруг засветились в темноте, как кошачьи глаза. Вишневые огоньки идущих впереди грузовиков то приближались, то удалялись. Встречные автобусы дальнего следования со своими синими, как медуница, и желтыми, как львиный зев, сигнальными лампочками наверху проносились мимо с такой быстротой, что мы едва успевали разглядеть в их ярко освещенных

окнах фигуры пассажиров, дремлющих в спальных креслах. То и дело на дороге, как призрак, возникала белая, фосфорическая фигура с поднятой рукой, безмолвно умоляющая подвезти. Магнием вспыхивали спицы велосипедов. Поминутно гасли и зажигались фары встречных машин, которые обменивались с нами таинственными световыми знаками, как глухонемые. И среди всей этой молчаливой световой симфонии в полосе фар безумно носились как бы раскаленные добела полевые мотыльки и мошки. Страшно хотелось спать. Ребята притихли и только изредка спросонья спрашивали:

— Скоро уже Обоянь?

Дорога в темноте казалась бесконечной. Несколько раз мы подъезжали к указателю, чтобы при свете фар посмотреть, скоро ли Обоянь. Но почему-то всякий раз это оказывался плакат, рекомендуемый держать свои деньги в сберегательной кассе или заниматься во время летнего отдыха гребным спортом. Время тянулось томительно. Вдруг, когда мы уже совсем потеряли надежду когда-нибудь добраться до Обояни, которая в нашем представлении успела уже превратиться в нечто недостижимо волшебное, перед нами в черном небе загорелась синяя аргоновая надпись «Бензостанция» и красная неоновая вертикальная — «Ресторан». Потом блеснуло целое созвездие ослепительных электроламп, неправдоподобно зеленые газоны, цветники, ледяной блеск асфальтового двора и уже знакомые нам архитектурные формы белых сооружений заправочной станции. На террасе буфета сияли желтые шелковые абажуры и по радио гремела танцевальная музыка.

— Ну, граждане, это сон в летнюю ночь, — сказала начитанная Женя и вдруг, без всякой видимой связи, мечтательно прибавила: — А все-таки есть смысл после окончания школы пойти в Тимирязевку.

Я побежал узнать насчет номеров. Каково же было мое изумление и, не скрою, испуг, когда оказалось, что не только нет номеров, но даже нет и гостиницы.

— Позвольте, по мне сказали в Мценске, что есть гостиница!

— Не знаю, кто вам это сказал.

— Девушка сказала. Дежурная. «Не такая, говорит, шикарная гостиница, как у нас в Мценске, но переночевать можно».

— Так это она, наверное, имела в виду гостиницу в самой Обояни, в городе, а у нас нет.

— А в городе-то по крайней мере есть? Вы, наверное, знаете?..

— В городе определенно есть.

— И что же, хорошая гостиница?

— Некоторые ночуют.

— А то нас, понимаете, шесть человек — трое взрослых, трое детей, отмахали свыше пятисот километров, дьявольски устали.

— Ничего. Авось как-нибудь переспите.

— А до города далеко?

— Километр.

— Ну что ж... Товарищи, по коням! — с несколько наигранной бодростью командовал я своему семейству. — Немножко терпения — и через десять минут я вам обещаю крепкий, здоровый сон в одном из лучших отелей города Обояни.

Мы пополнили бак горючим, и сверкающее видение заправочной станции, с ее аргоновыми и неоновыми вывесками, шелковыми абажурами, газонами и танцевальной музыкой, пропало за нами во тьме. Минут пятнадцать ездил мы по ночной Обояни, по темным от деревьев провинциальным улицам, останавливая одиноких прохожих. Но никто не мог указать нам, где гостиница. Наконец какая-то добрая женщина в очках и с портфелем под мышкой — видимо, работник местного отдела коммунального хозяйства — подробно объяснила, как найти гостиницу. Мы вернулись назад к нелепо большому недостроенному кирпичному собору — по всей вероятности, начатому незадолго до революции, — мимо которого уже проезжали несколько раз. За собором был какой-то пустырь, не то рынок, окруженный глухим забором. Надо было обогнуть этот забор, свернуть в переулок — и там находится гостиница. Мы так и поступили.

От дальнейшего описания избавлю, так как это была первая и единственная неприятность за все наше путешествие: маленькая гостиница оказалась переполненной. Впрочем, мы сами виноваты. Надо было выехать из Москвы после обеда и ночевать в Мценске. Поторопились! Претензий же к городу Обояни предъявлять не приходилось, так как он сильно пострадал во время войны и еще не вполне оправился.

Едва порозовел самый краешек неба, мы поехали дальше, рассчитывая доспать в гостинице в Харькове, до которого оставалось около ста пятидесяти километров.

Дядя Саша и я на ночь оставались под навесом, в машине, выставив ноги в открытые дверцы. В общем, часа два нам удалось кое-как поспать. Остальных сердобольная дежурная кое-как умудрилась рассовать по койкам. Как и подобает путешественникам, готовым ко всяким дорожным случайностям, они держали себя мужественно. Исключение составил Павлик. Когда его на рассвете вытаскивали из койки приютившего его командировочного майора, он так сонно, так жалобно пролепетал:

— Папулечка, я тепленький!..

Серп заходящего месяца блестел еще довольно ярко, но утренний свет уже приливал. Холодный туман низко висел в незнакомой степи. На телеграфных столбах сидели отяжелевшие от росы ястребы. Солнышко взошло скромно, просто, без театральных эффектов. Слева из-за горизонта брызнули розовые лучи. Сразу потеплело. Туман поредел, утро предвещало жаркий, безоблачный день. Все еще продолжалась Россия, но уже ощущалось что-то украинское. Но что именно? Мы долго не могли понять и вдруг поняли. Белые мазаные хатки. Они еще были с русскими деревянными наличниками, но уже с соломенными, а иногда и камышовыми крышами, подстриженными ровно и аккуратно, чисто по-украински. Напоминали об Украине также мальвы в палисадниках и ветряные мельницы. Свежесть раннего утра разогнала сон. Внимание снова обострилось. Переехали через верховье украинской реки Ворсклы.

Вдалеке показалась гряда низких меловых гор. «Белгород 20 км», — сказала шоссе. Направо в долине проплыло видение громадного завода. Пожалуй, больше всего он напоминал мощный линкор, весь окутанный медленно ползущим дымом. Но только он был не темный, а белый,

мутно-розовый от зари: короткие трубы, башни, мостики, решетчатые мачты, даже дым и тот был густо-белый, непроницаемый, меловой. По мере приближения к Белгороду мы обратили внимание на странное явление: соломенные крыши хат были как бы испачканы чем-то белым, будто когда белили стены, то заодно немножко помазали мелом и крышу.

Шоссе пошло под гору, описало хорошо видную внизу широкую дугу, обставленную двумя рядами маленьких бело-черных столбиков, пронеслось по пустынному в этот ранний час городу Белгороду, описало другую такую же широкую дугу в обратную сторону и вынесло из города на простор, некоторое время мчась под горой рядом с железнодорожной насыпью, по которой шел пассажирский поезд. У подошвы холма тянулся длиннейший ряд очень маленьких домиков, между которыми по одному росли очень высокие, старые деревья разных пород. Здесь были и грабы, и пирамидальные тополя, и дубы, и даже затесалась одна береза, показавшаяся весьма странной среди этой южной компании.

В небольшом болотце, заросшем рогозой, купались ребята, и утреннее пятчасовое солнце вдруг зеркально стрельнуло в глаза из его тенистой зелени.

Потом я немного вздремнул, а когда открыл глаза, все вокруг уже волшебным образом изменилось. Земля была совершенно плоская, даже на вид твердая, ровная, как стол, и такая черная, что я понял — это настоящий украинский чернозем. Слева тянулось в полном смысле слова необозримое пшеничное поле с высокими деревянными сторожевыми вышками, а справа — ряды еще молодой, только что выбросившей свои бунчуки, крепкой, блестящей на солнце кукурузы, или, как ее называют на Украине, пшенки. А по обеим сторонам шоссе, вдалеке, прозрачно зеленели молодые полезащитные полосы белой акации. Вдруг впереди показалось что-то высокое, ярко-красное. Я сразу догадался, что это такое, и принялся будить семейство:

— Граждане, скорее, а то пропустите редкое зрелище!

— Что? Что такое?

Дядя Саша сбавил ход, и мы поравнялись с большим алым фигурным обелиском, особенно ярким на оранжевом фоне поспевшей пшеницы. На одной грани обелиска блестел на солнце золотой государственный герб РСФСР, на другой — УССР.

— А, — сказала Женя, высовывая в окно заспанное лицо. — Наконец-то десятый! Украина. Занимает юго-западную часть Восточноевропейской равнины...

В это время мы медленно проехали мимо столба и дружно крикнули «ура» в честь союзной республики, после чего дядя Саша сразу дал девяносто. Показалась синяя доска на серебряных ножках. Зеркальные пуговицы сказали: «Харьков 20 км». И как бы приветствуя нас, московских гостей, на украинской земле, высоко над нами вдруг раскрылся парашют. Освещенный нежным утренним солнцем, висел в безоблачном небе небольшой белый купол, и мы видели во всех подробностях все его выпуклости, тени, ниточки стропов и крошечного человечка, который болтался под куполом, управляя этими стропами. Незаметный ветерок снес парашют в сторону, и он мягко сел, как мыльный пузырь, где-то в поле за полосой акаций. Потом появился новый самолет, и на том же самом месте, где раскрылся первый парашют, раскрылся второй, а через некоторое время — третий. Очевидно, поблизости был какой-нибудь аэроклуб. Мы остановили машину и некоторое время любовались зрелищем, так удивительно одухотворявшим картину этого тихого, раннего утра.

Харьков начался густой дубовой рощей, вернее лесом необыкновенной красоты. Но это был лес не дикий, а хорошо ухоженный, чистый, дерево в дерево, почти парк. Шоссе рассекало его ровно, как по линейке. По обеим сторонам асфальта до стены леса еще оставалось пустое зеленое пространство, по крайней мере в два раза шире, чем самое шоссе. Таким образом, получилась необыкновенно широкая аллея длиной в несколько километров. Еще не старые дубы с короткими ветками, которые начинались очень низко, имели редкую для дубов пирамидальную форму. Уже одно это было красиво. А в соединении с конструктивной красотой безукоризненного шоссе, со всеми его указателями, знаками, стрелками, столбиками, беседками и урнами на специальных так называемых «площадках отдыха», это было просто замечательно.

Этот лес незаметно перешел в какой-то другой лес, уже обычный, но тоже очень хороший загородный парк с голубыми павильонами, тентами, скамейками, гипсовыми вазами и фигурами. Потом вдоль шоссе появились трамваи. Из-за деревьев слева показались крыши автобусного парка. Потом мелькнуло какое-то здание, похожее на электростанцию. Мы продолжали ехать по аллее, но только теперь эта аллея была обсажена уже другими деревьями, городскими: белой акацией, кленами, каштанами, пирамидальными тополями. Появились большие дома, тротуары. Аллея незаметно перешла в знаменитую харьковскую улицу — Сумскую. Хорошо мне знакомый высокий дом, где помещался ЦК КП(б)У в то время, когда Харьков еще был столицей Украины. Вот университетский сад; бывший Синельниковский театр, а в то время первый театр УССР. На миг в полете улиц показались корпуса знаменитого харьковского Дома промышленности — первого высотного здания в Советском Союзе. Лет двадцать назад оно производило сильное впечатление. Оно и сейчас бросалось в глаза высотой своих многочисленных четырнадцатипятиэтажных корпусов с великим множеством окон.

Сумская начала сужаться. Теперь мы ехали в тесном ущелье красивых многоэтажных — старых и новых — домов с гранеными выступами «фонарей», балконами и окнами, украшенными цветами и вьющимися растениями. Одно за другим следовали закрытые ввиду раннего часа кафе с заманчивыми витринами, где среди арктических пейзажей и гигантских фужеров на двух языках — русском и украинском — воспевалось мороженое, или «морозиво»: сливочное, клубничное, ореховое, крем-брюле, парфе и пломбир.

Затем мы увидели разрушенный центр с садиками на месте домов, большую сплошь залитую асфальтом площадь. Бросалось в глаза множество длинных, узких цветников, разбитых на тротуарах. Окруженные очень низенькими чугунными кружевными бордюриками и сплошь посаженные красной геранью, вербеной и каннами, они придавали городу весьма элегантный, курортный вид. Кое-где виднелись руины кирпичных брандмауэров со старыми, довоенными рекламными. Но в большинстве случаев зияющие пустоты в ряду домов были превращены во временные скверики или уже застроены новыми домами.

Был седьмой час утра, и в городе еще было пусто. Только посередине сияющей, как серебряный поднос, площади виднелись гипсово-белые кители милиционеров да фигуры дворников, подметавших вчерашний сор. До войны Харьков славился своей «Красной гостиницей», но ее уже не существовало. Мы спросили у дворничихи адрес лучшей гостиницы и, переехав мост через Лопань, остановились перед отелем «Интурист». Такое название было вполне естественно, так как мы именно и являлись туристами, прибывшими на Украину из «другой республики». Эта часть города была мне особенно хорошо знакома, так как в 1921 году я жил как раз в этой самой гостинице, в которой жили по ордерам многие советские и партийные работники, в том числе и мы, сотрудники «Югросты». В то время маленькая вонючая речонка текла через центр города в

своих естественных земляных берегах, вечно заваленных отбросами и падалью; старый деревянный мост дрожал под колесами. Теперь речка была одета в гранит, как Нева, и по широкому бетонному мосту бесстрашно катились трамваи и автомобили. Я вспомнил свою молодость и тот знойный августовский день, когда в пыльной витрине. «Югорсты», где выставляли последние телеграммы, вдруг увидел в черно-красной траурной раме портрет Александра Блока, уже (начавший желтеть и выгорать на солнце.

Гостиница уцелела от войны и, в общем, осталась такой же, как была, только, разумеется, была заново отремонтирована. Я ее узнал сразу. Нам дали два больших номера с ваннами, а машину завели в знакомый мне знойный гостиничный двор и сдали под охрану дворника.

О, какое это было удовольствие, даже блаженство — хорошенько намылиться душистым мылом, посидеть в горячей воде, вычистить зубы, а потом лечь в удобную постель и под знойный звон и грохот трамваев, пробежавших под самыми окнами по бывшей Екатеринославской, уже раскаленной, как печка, заснуть по-детски, сразу, крепко, без трудных мыслей и сновидений!

Проспав часов шесть подряд, мы с аппетитом пообедали в пустом, гулком ресторанном зале, который находился в нижнем этаже гостиницы и окнами выходил во двор, на его теневую сторону, отчего в зале было приятно темно и довольно прохладно. Обед подали превосходный, вкусный, с легким украинским оттенком: борщ с помидорами, котлеты по-киевски, свежие нежинские пупырчатые огурцы.

Пока дядя Саша ездил по раскаленному добела незнакомому городу в поисках заправочной колонки, мы успели немножко погулять по бывшей Екатеринославской. Прямо против гостиницы находился шляпный магазин. Множество самых разнообразных соломенных головных уборов — мужских, дамских, детских и «подростковых», — выставленных в витрине, соблазняли нас. Мы вспомнили, что забыли запастись в Москве этими совершенно необходимыми принадлежностями крымских курортов, и купили каждому по так называемому брилю — громадной соломенной шляпе, в которой обычно работают на полях украинские колхозники. Так что когда мы поехали дальше, машина оказалась загроможденной шляпами, от которых так вкусно и совсем по-летнему пахло золотистой пшеничной соломой.

Мы въехали в Харьков со стороны парков и садов, а выехали из него через промышленные районы. Только теперь мы поняли истинные размеры этого громадного индустриального города. Во все стороны, на много квадратных километров, разбегались старые, восстановленные и новые, недавно выстроенные заводы и фабрики, сверкающие на солнце стеклянные крыши цехов, похожих на оранжереи, водонапорные башни, висячие мостики, трансформаторные будки, сети электрических проводов, фабричные трубы с лесенками и штыками громоотводов, насыпи подъездных железнодорожных путей, горы каменного угля, нефтяные цистерны и невероятно длинный, закругляющийся железнодорожный состав с платформами, уставленными новенькими тракторами «ХТЗ».

На выезде из города наше шоссе расширилось метров до двадцати. Во все стороны от «его» отделялись и убегали белые асфальтовые ленты на запад, восток и юг. То и дело стрелки показывали направление на Кривой Рог, Днепропетровск, Днепродзержинск, Сталино. За этими названиями крылись понятия: «руда», «уголь», «сталь», «электричество», «чугун».

Из ворот заводских складов непрерывным потоком выезжали на главную магистраль пятитонки, нагруженные ящиками самых разнообразных форм и размеров. На некоторых из них было

написано крупными буквами: «Срочно! Для великих строек коммунизма». Поминутно сигнали и тормозя на переездах под светофорами, окруженные громадными дрожащими радиаторами грузовиков, среди которых наша машина казалась совсем маленькой, как речной катерок среди океанских пароходов, мы долго выбирались на простор. Наконец мало-помалу пробка рассосалась. Грузовики с горными комбайнами, упакованными в длинные ящики с надписью «пневматика», свернули на Сталино и на Криворожье. «Буровое оборудование» покатило на Никополь, на трассу будущего Южно-Украинского канала. Шоссе на некоторое время очистилось. Повинуясь указанию зеркальных пуговичек и синей стрелки, мы повернули в сторону электричества, на Запорожье.

Некогда, может быть, потому, что время было такое суровое, у меня о Харькове и о его окрестностях сложилось представление как о чем-то весьма скучном, неинтересном. Только теперь я убедился, как я был неправ. Окрестности Харькова оказались прекрасны. Шоссе все время плавно закруглялось то в одну сторону, то в другую. Картины природы разнообразно менялись. В них не было почти ничего типично украинского. Зеленые холмы, местами поросшие цветущей сурепкой, как бы густо посыпанные порошком серы; маленькие речки, тенисто заросшие ольхой; высокие острые черепичные крыши; коврики полей; столбы высоковольтных электролиний; дуб, ива, граб; дачные поселки с открытыми верандами маленьких голубых буфетов... Вдруг сбоку — зеленая стена очень высокого, крутого откоса с лестницей, и на его вершине среди дубового кустарника мелькают вагоны дачного поезда, а с другой стороны, внизу, — пионерский лагерь, прямоугольник пруда, окруженный малиновыми телами купальщиков. А через несколько километров уже совсем другая картина: шелковистые песчаные дюны, сосны — совсем Прибалтика, не хватает только моря.

Но вот все это кончилось. Мы въехали в молодую дубовую рощу. Здесь было так красиво, уютно и тенисто, что мы решили сделать маленький привал, тем более, что до Зеленого Гая, где предполагалась последняя ночевка, оставалось сравнительно не так далеко — километров триста, а времени только три часа пополудни. Как бы предупреждая наше желание, возле шоссе показалась очередная площадка отдыха — стол и три скамьи под тенью орешника.

И опять, как только остановились, мимо нас, обдавая ветром, учащенно замелькали машины, но теперь среди них было гораздо больше грузовиков. Это Харьков слал на юг, к уборочной, изделия своих знаменитых заводов. Проносились, сверкая в решетчатых ящиках, штабеля мужских и дамских велосипедов, вкусно блестели свежим лаком и никелем мотоциклы. Павлик смотрел на них как зачарованный. И весело было представлять, как они сначала попадут на какую-нибудь базу, потом в сельские магазины, а потом разбегутся по колхозным шоссе и полевым дорогам, увозя домой своих владельцев — председателей колхозов, счетоводов, учительниц, агрономов, зоотехников, учеников, доярок, бригадиров, — и легкий полевой ветер будет гнаться за ними, упруго наклоняя тяжелые колосья пшеницы...

Здесь мы впервые прикоснулись к нашим домашним запасам. Есть нам не очень хотелось, но мы все же закусили, «чтобы не испортилось». Московские батоны еще не успели зачерстветь и оказались вполне съедобными. Крутые яйца! стойко держались. Сыр со слезой уже не просто слезился, а буквально рыдал. Все это мы съели, запив горячим боржомом и оставив после себя на столе груды яичной скорлупы и горку соли. Но ничего нельзя было поделаться: все знакомые, уже успевшие совершить автомобильное путешествие по симферопольской магистрали, в один голос утверждали, что самое изумительное во всем путешествии — делать привалы где-нибудь в лесочке и закусывать, и просто требовали, чтобы мы это непременно сделали. Таким образом,

совершив под давлением общественного мнения необходимый обряд, мы сели в успешную раскаленную машину, поехали дальше и вдруг увидели такой ячмень, что даже пришлось остановиться. Во-первых, нас поразило его цвет. Не золотой, не просто желтый, не янтарный, даже не бронзовый, хотя ближе всего подходил к светло-бронзовому. Словом, неопишимо яркий и вместе с тем какой-то тяжелый цвет чистой охры. Поле было очень большое, но совершенно ровное, как поверхность щетки. Колосья прямые, твердые, частые, один в один. Даже не верилось, что это ячмень, а не какой-нибудь другой, еще не виданный нами злак. Для того чтобы убедиться, я сбегал и сорвал тяжелый, твердый граненый колос. Это действительно был сказочный, выставочный ячмень! Именно с этого ячменя по-настоящему и началась красавица Украина.

Впереди, до самого Симферополя, не предвиделось ни одного сколько-нибудь значительного города. Запорожье оставалось несколько в стороне от магистрали. Все крупные центры также были в стороне. Мы мчались среди сплошных бесконечных массивов созревшего хлеба — рослого, частого, чистого. Казалось, что вот-вот, с минуты на минуту, должна начаться уборка. Мы с нетерпением ожидали появления первого комбайна, но проехали еще километров сто, прежде чем его увидели. Впрочем, мы уже так привыкли к равномерно быстрой езде, что время и пространство утратили для нас свою обычную меру. Они как бы слились воедино и уже не измерялись друг другом: время — пространством, а пространство — временем, а оба измерялись мерой нашего утомления, а также изменениями местности или какими-нибудь мелкими дорожными событиями. Местность была хотя и красива, но однообразна, мы не были утомлены, а потому сто километров как бы промелькнули в один миг.

Шоссе взбежало на подъем, и вдруг на повороте мы увидели комбайн. Было уже часов пять или шесть. Солнце светило искоса, отчего все вокруг со своими удлинненными тенями виделось особенно стереоскопично. По кромке пшеничной делянки медленно ползло довольно громоздкое сооружение, которое тащил на буксире большой гусеничный трактор с трубой, казавшийся совсем маленьким. Над комбайном развевался большой, очень яркий красный флаг, пронизанный солнцем. Под флагом, за штурвальным колесом стоял, подбоченившись свободной рукой, комбайнер в широкополом бреле. За комбайном по стерне волочилась большая железная клетка. Две девушки с лицами, до глаз завязанными платком, как у мусульманок, время от времени помогали вилами вываливаться из клетки кучам соломы. Из какой-то коленчатой наклонной трубы летела солома. А все поле уже на треть было выстрижено, как под машинку.

Мы не знали, что обозначает это красное развевающееся знамя, но можно было предположить, что это неспроста: то ли в честь начала уборочной, то ли боевое отличие за доблестный труд. Так или иначе, но мы высунулись из окон и дружными возгласами приветствовали флаг, в ответ на что комбайнер с достоинством снял свой брель, раскланялся, и яркая картина скрылась за поворотом. Мы уже стали жалеть, что не остановились, но сейчас же увидели другой комбайн, правда, без флага, потом третий, четвертый... И с этого времени комбайны посыпались как из рога изобилия. Сначала ребята их подсчитывали, загибая пальцы. Но скоро перестали, так как их было гораздо больше, чем пальцев и даже чем в летних номерах «Огонька». Они были разные. Весьма скоро мы научились в них разбираться. Были комбайны на прицепе, такие, как наш первый с флагом и клеткой. Были самоходные, которые мы сразу узнавали по косому полотняному зонтику, под которым комбайнер сидел, как раджа на спине слона.

Встречались также и роскошнейшие комбайны, тоже с зонтиком, самого новейшего образца, на резиновом ходу, с никелированными фарами, красные, лакированные — игрушечка!

Ребята то и дело высовывались в окна, крича:

— Наш с прицепом!

— Самоходка!

— Красный под зонтиком!

Да, это была Украина во всем блеске уборочной!

Вдруг мы увидели на обочине пыльную коричневую «Победу» и человека в вышитой украинской рубашке с красной ленточкой вместо галстука, который, стоя посреди шоссе, отчаянно размахивал небольшой серой «панамой» из крашеной соломы. Дядя Саша сделал попытку промчаться мимо, даже прибавил газу, но на лице у человека было написано такое отчаяние, что пришлось остановиться.

— Будьте такие ласковые, — нежным, плачущим голосом пропел он, хромящей рысью подбегая к нашей машине, — чи вы не позычите нам на хвилинку-другу вашего домкрату, бо ця скаженна жинка мне сейчас голову оторвет, дуже звиняюсь...

— Ничего отрывать, бо ее у тебя и так давно нема, — скороговоркой сказала молодая женщина с закутанной от солнца головой и треугольной бумажкой, наклеенной на нос, чтоб он не загорел, откуда ни возьмись появившаяся рядом. — Он свою голову уже давно потерял, — продолжала она без знаков препинания, обращаясь уже непосредственно к дяде Саше. — Вы, дуже извиняюсь, человек на вид пожилой и солидный, наверное, едете из Москвы, как я заметила по вашему номеру, так вы мне ответьте: может ли порядочный водитель выезжать в рейс, не проверив, есть у него домкрат или нету?

— А в чем, собственно, дело? — любезно осведомился дядя Саша.

— Нет, вы мне сначала, товарищи, ответьте на мой вопрос: может так быть или не может, чтобы колгоспный шофер выезжал без домкрата? — обратилась она уже ко всем нам.

— Не может, — хором сказали мы.

— Ага! — торжествующе оказала женщина и быстро повернулась к товарищу в серой «панаме». — Теперь ты понял? А еще бывший танкист!

— Это сюда совершенно не относится, — жалобно пропел бывший танкист тонким голосом.

— Нет, относится! — грозно сказала она, сверкая темными глазами. — Пускай люди ответят: относится или не относится? Когда ты выезжал на своем танке в бой, так, наверное, у тебя все было в порядке: и пушка и патроны... А теперь, в самый разгар уборочной, он выезжает без домкрата! И через тебя приходится останавливать на дороге людей и кланяться: «Позычьте нам на бедность домкрат сменить негодное колесо, а то у нас бригады останутся без горячего обеда». Это как называется?

Бывший танкист смущенно махнул рукой и отвернулся. Быстро достали домкрат, и пока бывший танкист при поддержке дяди Саши и Павлика менял спустившее колесо своей коричневой «Победы», в которой на заднем сиденье помещались закутанные, как дети, в стеганые одеяла кастрюли, макитры, термосы и глечики с обедом для комбайнеров, молодая женщина продолжала сыпать своей полтавской скороговоркой:

— Я вам скажу, товарищи курортники, что не каждый комбайнер согласится на холодные вареники и теплый борщ, а в особенности такой человек, как Платон Яковлевич. Звичайно, он через это штурвала не бросит, прежде чем полностью не управится, но я вас спрашиваю: как наш колгосп будет па него смотреть? Платон Яковлевич! Вы лучше спросите, с какими трудами мы его получили из МТС! Насилу уговорили! Товарищ, знаменитый от Запорожья аж до самого Воронежа! Против него, если вы хотите знать, не выстоит ни один комбайнер Советского Союза. А поскольку мы соревнуемся с соседними колхозами на первенство Украины по сдаче зерна государству, то вы ответьте на такой вопрос: должны мы его своевременно обеспечить или не должны? Мабуть, вы думаете, что после этого всего у меня хватит совести подать такому человеку прохладный борщ? Та я лучше в речке утоплюсь, чем позволю себе сделать такую некрасивую вещь. Уже не говорю за другие бригады, которые тоже дожидаются обеда. Позор на весь район! А этот мало того, что баллоны перед рейсом не проверил, а еще домкрат дома забыл! Спасибо вы нас, товарищи, выручили, а то я уже думала бежать до ближайшего полевого стана и вызывать по радиотелефону аварийную полторку. А вы сами, часом, не в Крым едете? А куда именно? В Коктебель? Это теперь называется Планерское. Как же, знаю. Ну, так я вам не завидую, для детей, может быть, и хорошо, но для взрослых довольно-таки скучно. Мы там запрошлый год отдыхали после уборочной в Доме медсантруда, так там только одни санитарки и старые зубные врачихи, — мне не понравилось. В Ливадии куда лучше! Ну, еще раз большое вам спасибо за домкрат. Поправляйтесь. Микола, ты уже сменил колесо? Так сидай за баранку — и поехали. Только веди машину аккуратно, чтобы не разболтался борщ и не побилась горилка.

И через некоторое время, обернувшись, мы увидели в отдалении коричневую «Победу», которая сворачивала с шоссе на полевой грейдер.

Все чаще и чаще наше шоссе пересекали твердые грунтовые дороги со стрелками, показывающими направление на разные колхозы: «Память Ильича», «Светлый путь», — а то и просто на стрелке было написано: «Дорога в поле». Часто вдалеке, справа или слева, над стеной пшеницы показывались черепичные крыши и маленькая эйфелева башня ветряного двигателя с белым ветряным колесом и хвостиком, как у кометы. То и дело попадались большие колхозные фермы, новенькие силосные башни, цистерны для горючего, очень длинные конюшни или коровники с двускатными черепичными крышами необыкновенно чистых прямых линий и самых различных оттенков красного цвета: вишневых, бледно-розовых, алых, почти шоколадных. Попадались также небольшие стандартные электростанции, конторы МТС, ремонтные мастерские, футбольные площадки. А высоковольтные столбы продолжали своим порядком неподвижно шагать через поля, скрываясь за горизонтом и вновь появляясь у самого шоссе, и по сторонам их, наверху, висели сушеные грибы изоляторов.

В соединении с полевыми просторами, блеском стремительно бегущего шоссе, легковыми автомобилями я междугородными автобусами под небом без единого облачка — все это было удивительно прекрасно, совсем ново. Но в этом еще не было ничего типично украинского. Так могло быть и на Кубани, и на Северном Кавказе, и в Заволжье, и в Восточной Сибири, и где-нибудь под Воронежем.

Но когда машина пролетела непосредственно по деревне, тут уж была самая настоящая Украина: белые мазанки с высокими, толстыми соломенными крышами, глиняными призьбами — завалинками, квадратными окошечками, обведенными синькой или охрой, с громадным деревом и колодцем-журавлем, с вишневым садочком, как бы униженным капельками крови, с плетнями и

клубнями и разноцветными мальвами и чернобривцами, оранжево-черными, как ленточка ордена Славы.

Целые поля подсолнухов, крутятся, пробежали мимо нас, и были они похожи на хороводы веселых украинских дивчат в зеленых развевающихся плахах и желтых венках на чернявых головках, а поля кукурузы стояли поодаль, как толпа молодых чубатых запорожцев с бунчуками и саблями, так что все вместе это было ни дать ни взять финал «Запорожца за Дунаем» в киевской опере.

На дорожных указателях стали попадаться названия вроде «Полтава», «Карловка», гордо проплыла надпись «Киев» со стрелкой вправо. Появились машины с киевскими номерами. С каждым километром наша магистраль приобретала все более нарядный городской вид, который усиливало присутствие милиции, строгой, но вежливой, как на улице Горького. Один за другим следовали «Дорожно-ремонтные пункты», целые усадьбы, состоящие из нескольких трехэтажных жилых Домов каждая, все того же общего оригинального стиля — с высокими черепичными крышами, расширяющимися кверху высокими плоскими трубами, балкончиками с извилистыми железными решетками, разноцветным орнаментом вокруг дверей и террас, цветниками, газонами и скамейками. В этих домах помещались ремонтные рабочие, служащие, работники дорожной милиции, инженерно-технический персонал. В громадных гаражах стояли шоссейные машины, аварийные тягачи, грузовики, мотоциклы, которые по первому требованию выходили на магистраль. Эти пункты непосредственного отношения к нам не имели, так же как домики линейных мастеров. Но они являлись составной частью трассы и в значительной мере определяли ее внешний вид. А заправочные станции с буфетами шли своим порядком, аккуратно через каждые двести километров. Словом, это был как бы некий новый, выстроенный в едином стиле и по единому плану, большой благоустроенный город, растянувшийся с перерывами на полторы тысячи километров.

Особенное внимание привлекали мосты через многочисленные речки, текущие здесь с востока на запад. Иногда речки эти были так малы и невзрачны, что казалось, не стоят своих роскошных мостов. А мосты были действительно очень хороши. Широкие, стройные, с литыми чугунными перилами, богато орнаментированными государственными эмблемами, местами посеребренные, они легко, почти незаметно переносили машину с берега на берег, объявляя хорошенькой табличкой название речки. Я сказал, что часто речки не стоили своих мостов. Но я сделал слишком поспешное заключение. Некоторые из этих речушек оказались очень стоящими. Колхозы загородили их плотинами, и получились длинные треугольные водохранилища. Один такой колхозный пруд, видимо, соорудили совсем недавно, так как из него торчал телефонный столб с проводами. В пруду купались ребята, женщины стирали белье, плавало множество уток и гусей, и еще не заросший травой черный земляной берег был усеян белым пухом.

— Граждане, мне пришла идея! — воскликнул Павлик и умоляющими глазами посмотрел на мать.

— Если она пришла, то пусть поскорее уходит, — сухо сказал дядя Саша.

— Да, но вы еще не знаете...

— Знаю. Выкупаться.

Верно, с удивлением сказал Павлик. — Как вы догадались?

— Догадаться нетрудно, но, к сожалению, это невозможно: надо торопиться, чтобы дотянуть до Зеленого Гая засветло.

Почему-то у дяди Саши была навязчивая мысль — дотягивать именно засветло, что, впрочем, регулярно не удавалось. И оригинальная идея Павлика молча удалась.

Цифры на дорожных столбиках менялись быстро и незаметно, как на счетчике такси. Приближался тысячный километр. Мы решили отметить это событие короткой остановкой и торжественно распить последнюю бутылку московского боржома. Однако праздник наш был слегка омрачен. Желая поскорее достигнуть тысячного столба, дядя Саша погнал в гору, с большим мастерством и блеском обошел два колхозных грузовика с зерном, преодолел подъем и вышел на прямую, где посередине шоссе уже стоял пожилой офицер милиции и легким помахиванием полосатого жезла приглашал нашу машину съехать на обочину и остановиться.

— Что такое? В чем дело?

Офицер милиции неторопливо подошел к машине, приложил два пальца к головному убору, представился:

— Старший лейтенант дорожного отдела милиции такой-то, — и радушно спросил, откуда и куда мы следуем.

С видимым интересом выслушав хоровое выступление ребят, которые с большим жаром, но довольно толково изложили ему краткую историю нашего путешествия, офицер милиции одобрительно кивнул головой, а затем попросил дядю Сашу предъявить права. Он долго и внимательно, со всех сторон, осматривал книжечку, а нервное заявление дяди Саши, что мы, «винти ли, очень торопимся, так как рассчитываем попасть в Зеленый Гай засветло», пропустил мимо ушей, видимо вполне разделяя мудрое милицейское правило: тише едешь — дальше будешь. Перелистав книжечку справа налево, а затем слева направо, он постучал ее корешком по ладони и, глядя на облупившийся нос дяди Саши, сказал с мягким украинским акцентом:

— Товарищ водитель, вам должны быть хорошо известны правила автомобильного движения, а между тем вы их грубо нарушаете. Нарушение правил ведет к авариям, что угрожает жизни как лично вашей, так и ваших пассажиров, а равно и других граждан.

— Но что я сделал? — невинно удивился дядя Саша.

— Вы сделали то, что грубо нарушили правила автомобильного движения, обогнав на подъеме попутный грузовой транспорт, что правилами автомобильного движения не разрешается. Подобные нарушения недопустимы... — и т. п.

Дядя Саша сразу стал кроткий, как дитя, и время от времени с любезной улыбкой вставлял в речь офицера милиции краткие замечания, вроде:

— Слушаюсь, товарищ лейтенант. Понимаю. Учту ваши указания. Больше не повторится.

Наконец, получив свои права, в которых офицер милиции, вежливо приложив руку к козырьку, сделал специальными щипчиками небольшую дырочку, дядя Саша снова взялся за руль. Но пожилой лейтенант остановил его и вручил какую-то печатную бумажку, предварительно заставив расписаться в получении. Лишь после этого дядя Саша получил возможность тронуться дальше.

Осторожно доехав до тысячного столба, мы вышли из машины и немножко погуляли, разминаясь, затем выпили по кружке боржома, еще более горячего, чем под Харьковом, а дядя Саша вслух прочитал полученную от офицера милиции бумажку. Это был официальный талон со штемпелем

дорожного отдела Главного управления милиции. На бумажке было сначала напечатано очень крупными буквами: «Вы нарушили правила движения», — а затем помельче, но тоже достаточно крупно: «Дорожный отдел милиции предупреждает вас, что нарушения правил движения дезорганизуют работу транспорта и зачастую приводят к дорожным происшествиям, подвергают опасности жизнь и здоровье граждан. При нарушении правил движения впредь вы будете подвергнуты более строгому взысканию. Дорожный отдел милиции».

Характер местности продолжал оставаться прежним, с той лишь разницей, что стало попадаться больше заново отстроенных деревень. В одном месте мы увидели хату, ровно наполовину снесенную снарядом. Так она и стояла, как бы аккуратно разрезанная ножом, от нее осталась только одна половина, заделанная новой глиняной стеной. Часто встречались хаты с новыми железными крышами, почему-то выкрашенными в черный цвет, а также полуобгоревшие деревья, обросшие новыми ветками. По-видимому, здесь шли сильные бои. Затем мы увидели табличку с надписью «Новомосковск 20 км». Сначала я не обратил на это внимания. Но потом, когда название «Новомосковск» через десять километров повторилось, я вдруг почувствовал непонятное волнение, хотя сразу и не мог понять, отчего оно происходит. Слово «Новомосковск» что-то мне напоминало, но я не знал что. Оно было больше, чем просто знакомое. С ним, несомненно, было связано что-то очень близко касающееся меня лично, всей моей жизни. Но что? Мне почему-то вдруг представились две обожженные венчальные свечи с атласными бантами, пучок искусственных, восковых цветов флёрдоранжа, белые лайковые перчатки и комичный шелковый окладной цилиндр, так называемый шапокляк, на атласной подкладке. Они хранились в комодке моего покойного отца, и в детстве я любил их рассматривать, в особенности шапокляк, который так ловко щелкал, когда я его складывал и раскладывал. Именно эти вещи, семейные реликвии, и были самым тесным образом связаны со словом «Новомосковск». Наконец я вспомнил почему. В Новомосковске венчались мои родители. Я ни разу в жизни не был в этом городе. Теперь я почувствовал сильнейшее волнение. Одновременно я ощутил себя и стариком и каким-то странным существом, еще не появившимся на свет.

— Вот что, братцы, — сказал я, оборачиваясь к детям. — Сейчас будет Новомосковск. Возможно, там сохранилась одна церковь. Так вот, знайте, что именно в этой церкви женились ваши бабушка и бабушка.

Ребята с острым любопытством посмотрели на меня, потом на мать, потом стали всматриваться в даль. Впрочем, было маловероятно, что церковь сохранилась. Здесь шли ожесточенные бои, и почти все церкви, мимо которых мы проезжали, были разрушены войной. Вдруг показался Новомосковск — широко раскинутый, видимо сильно разбомбленный, но уже приведенный в порядок, весь в зелени, и первое, что мы увидели, была удивительной красоты церковь — стройная, белая, со множеством ярко-зеленых куполов странной формы. Никаких других церквей вокруг не было. Эта была единственная. Но только подъехав ближе, стало понятно, что это не просто церковь, а громадный старинный собор изумительного древнеукраинского, черниговского стиля. Множество мелких куполов, тесно расположенных друг над другом уступами, имели не форму луковок, как наши церкви, а напоминали железные шлемы, маленькие украинские кровельки с выступающими острыми краями. Эти купола с лесом высоких железных крестов, каменный фундамент церкви, а также косые карнизы, крытые железом, — все было выкрашено ярко-зеленой краской и необыкновенно резко, но гармонически сочеталось с белизной всего собора. Но самое замечательное было то, что собор оказался весь, снизу доверху, деревянный, без единого железного гвоздя. Он стоял посередине пустынной провинциальной площади и, кажется, был единственным зданием в городе, не пострадавшим от бомбежек. Наша магистраль

как раз пролегла через площадь, и я попросил остановиться. Мы вошли за ограду — тоже ярко-зеленую, на белом каменном фундаменте, — в церковный сад. На веранде сторожки, сплошь увитой диким виноградом, нас встретил старик сторож. Он преувеличенно строго объяснил нам, что храм старинный, семнадцатого века, называется Новомосковский троицкий собор, построен запорожцами из местных деревянных домов, которые богатые запорожцы специально до этого скупали. Сейчас собор охраняется как памятник украинской старины и музей. Я спросил, сохранились ли церковные книги, куда записывались совершенные в соборе крещения, бракосочетания, и где эти книги можно достать. Оказалось, что книги есть, но находятся в местном загсе, который ввиду позднего времени уже закрыт, и мне не удалось увидеть запись о бракосочетании надворного советника Петра Васильевича Катаева с девицей Евгенией, дочерью полковника Ивана Елисеевича Бачей.

Зеленые железные двери церкви были заперты на засов. На белых ступенях лежали предвечерние тени шелковицы. И я вдруг так ясно представил себе летний день и молодого отца в учительском вицмундире с короткими фалдочками, в белых лайковых перчатках, со сложенным шапокляком в руке, в пенсне со шнурком, с бородкой, похожего на Чехова, который стоит на этих самых ступенях, а мама, совсем молоденькая, почти подросток, с цветочком в черных, гладко причесанных блестящих волосах, стремительно, радостно идет ему навстречу, отбрасывая шлейф маленькой ногой в атласной туфельке, и слеза блестит под иссиня-черными дрожащими ресницами маминых раскосых, опущенных глаз...

И вот теперь, через столько лет, их сын, почти уже старик, стоит и смотрит на эту церковь, на облупившиеся ступени, и рядом стоят их внуки — мальчик и девочка, которых они никогда не видели и не знали, а вокруг жарко, безоблачно сияет летний украинский вечер и блестит на шоссе светло-серый автомобиль.

Ребята с молчаливым вниманием смотрели на церковь, где некогда венчались их бабушка и дедушка, которых они никогда не видели, и мне очень хотелось узнать, что они чувствуют, о чем думают. Но они молчали.

— Неужели они женились в церкви? — наконец с удивлением сказала Женя и посмотрела на меня пытливо округлившимися зеленоватыми глазами.

— Конечно. Тогда было так принято.

— Лично я, даже тогда, ни за что бы не стал жениться в церкви, — подумав, заметил Павлик и строго прибавил: — Они, наверное, не были революционеры.

Женя подошла, взяла меня под руку и прижалась головой к моему плечу:

— А они очень были влюблены друг в друга?

И мы поехали дальше, сначала через приток Днепра Самару, поэтическую речку, всю заросшую камышом и кувшинками, где на мосту попали в громадное стадо молоденьких племенных бычков бежевой масти, к которым с берега рвалось стадо пестрых коров, отгоняемых пастухами, а потом — по живописному Приднепровью.

Солнце уже стояло совсем низко на телесно-розовом небе. Дядя Саша гнал вовсю. Жирные суслики как столбики сидели на дороге и проворно перебежали через шоссе с одного поля на другое. Отъевшиеся воробьи тяжело взлетали стаями из-под самого радиатора, неуклюже,

бестолково трепетали крыльями, носясь перед машиной, и некоторые из них погибли, разбившись о ветровое стекло, испятнанное мотыльковой пылью. За сусликами и воробьями охотились кобчики. За кобчиками охотились какие-то еще более хищные и сильные птицы, может быть степные орлы, высоко в безоблачном, почти бесцветном, небе описывающие круги и вдруг как камень падающие вниз. Пролетел аист, неся в красном клюве змею.

А шоссе уносилось вдаль, и нагретый воздух казался на горизонте водой, разлитой по асфальту, и эта вода как бы волшебным образом испарялась по мере нашего приближения, отодвигалась и продолжала блеснуть впереди. На обочине дороги стали попадаться яркий степной мак, лиловые шарики дикого чеснока. На каждой остановке Женя перебиралась через кювет, для того чтобы пополнить свой гербарий редкими экземплярами южных степных растений — душистой серебряной полынью, чабрецом и теми мягкими, мохнатыми колосообразными лиловыми цветами, которые здесь неправильно называются васильками, в то время как васильки носят название «волошки», — так что скоро в машине запахло прямо как в украинской хате.

Тень машины бесконечно растягивалась. Солнце село. На том месте, где после него в небе осталось пыльное клубничное зарево, вдоль всего западного горизонта, в золоте последних лучей вдруг показалась дымная, как бы сиреневая панорама Запорожья. Пока мы с ней поравнялись, уже настолько стемнело, что кое-где там задрожали звезды электрических фонарей. В последних отсветах зари проплыл весь объятый дымом из труб силуэт громадного индустриального центра. Розовым зеркалом блеснула излучина Днепра. Где-то там, совсем недалеко, был ДнепрогЭС. Впереди показался большой перекресток с треугольным цветником посередине. Это был крупный узел шоссейных дорог. Стрелки, повернутые в разные стороны, указывали направление на Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Симферополь.

Как раз в это время со стороны Запорожья подошла колонна грузовиков и стала перед нами поворачивать на главную магистраль. Один за другим на бледно-сиреновом фоне вечернего неба двигались силуэты машин, нагруженных обсадными трубами, буровыми станками, барабанами тросов, дизельными движками, чемоданами, на которых сидели какие-то люди. Развевались волосы девушек, белели макинтоши. Это выезжала из Запорожья в район Мелитополя, на трассу будущего Южно-Украинского канала, очередная геологоразведочная группа, вероятно студенты-практиканты. Они пели хором, и стройные, молодые голоса летели над вечеряющей степью.

Стоит гора високая,

А під горою гай.

Зелений гай, густесенький,

Неначе справді рай.

А на последнем грузовике, сзади, свесив болтающиеся ноги через борт, сидели, обнявшись, накрытые одной палаткой, юноша и девушка и тихо о чем-то беседовали.

Мы почувствовали большое искушение повернуть направо, на Запорожье, и полюбоваться ДнепрогЭСом, до которого оставалось каких-нибудь десять километров. Но уже совсем стемнело, и мы, решив заехать в Запорожье на обратном пути, поехали прямо по симферопольской магистрали.

Над черной степью уже дрожала знакомая нам вечерняя звезда, и дядя Саша принужден был включить фары. Перед машиной снова заметались как бы раскаленные добела степные Мотыльки, но теперь их было гораздо больше, и скоро все ветровое стекло оказалось заляпанным их разбившимися тельцами.

Мы обогнали колонну геологов. Наши фары сначала ярко осветили девушку и юношу на последнем грузовике. Они все еще продолжали разговаривать, но теперь ее голова лежала у него на плече, и освещенное лицо казалось совсем белым, фарфоровым, и на нем дрожало выражение счастья, а он озабоченно хмурил черные густые брови, и на лацкане его пиджака ясно виднелся маленький голубь мира. Потом луч наших фар скользнул по всей колонне, выхватывая из темноты детали буровых станков, фигуры сидящих людей, дымок папирос, большие белые номера на бортах грузовиков. Хор молодых голосов, поющих старую украинскую песню, усилился, вырос, грянул, потом стал постепенно замирать позади нас в степи...

...Зеленый гай, густесенький,

Неначе справді рай...

В бархатной тьме степной южной ночи за посадками акации блеснули фонари и неоновые вывески станции обслуживания Зеленый Гай, оказавшейся точной копией станции Мценск. Мы поужинали в ресторане, выпались в прохладных номерах, а когда поздно утром проснулись и вышли на сияющий асфальтом двор, то сразу почувствовали знойное дыхание настоящего юга. Сухой, почти раскаленный ветер гнул тонкие молодые деревца, шелестел их пыльной редкой листвой, с бумажным шорохом пробежал по кукурузе, по сохнувшим цветникам. Явственно ощущалась близость безводных приазовских степей. Это могло показаться очень тоскливым, если бы совсем недалеко, почти рядом, не было Каховки, реки Молочной, Мелитополя, Васильевки, где уже начинало разворачиваться грандиозное строительство Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Туда ежедневно прибывали советские люди со всех концов Союза. Они ехали на поездах, на пароходах по Днепру, летели на самолетах. Многие воспользовались магистралью Москва — Симферополь, ехали на пассажирских автобусах, на попутных грузовиках, на велосипедах, на таксомоторах. Станция Зеленый Гай находилась на бойком месте. Множество самых разнообразных машин стояло на заправочном дворе возле электрических колонок. В ожидании отправки будущие строители сидели со своими сундучками и чемоданами на лавочках возле гостиницы, пили чай и закусывали в ресторане, прогуливались по асфальтовым дорожкам между цветниками. Несколько совсем юных пареньков, видимо только что окончивших ремесленное училище, собрались в кружок посреди заправочного двора. Среди них я увидел и наших ребят. В центре кружка парнишка лет шестнадцати в летней канареечной рубашке с короткими рукавами, с гладко зачесанными назад блестящими каштановыми волосами, присев на корточки, резкими, отчетливыми движениями проводил по асфальту мелом какие-то линии. Проведет линию, выпрямится, что-то скажет и опять проведет линию. Мне показалось, что они играют в какую-то неизвестную мне игру. Я подошел ближе. Он наклонился, быстро и очень ровно провел линию, выпрямился — солнце блеснуло в его зеркальной прическе — и сказал:

— Так?

— Так, — ответили хором ребята.

— Отсюда он пойдет вот сюда, прямо на Джанкой, — продолжал парнишка в канареечной рубашке и вдохновенно провел новую линию.

- А как же Сиваши, Гнилое море? — спросила Женя.
- Молчи, не мешай человеку объяснять, — нетерпеливо сказал Павлик. — Тебя не спрашивают.
- Нет, почему же, — серьезно ответил парнишка. — Пускай спрашивает, если не понимает. Через Сиваши он пройдет по трубам. Понятно?
- Такие большие трубы? — с сомнением сказала Женя.
- Чего ж тут особенного? пожал плечами парнишка. — Ты сама, девочка, откуда? Из какого города?
- Из Москвы, — гордо ответила Женя.
- Раз из Москвы, так чего ж ты удивляешься? Небось под Москвой-рекой на метро ездила? Там оно проложено по такой трубе, состоящей из тубингов. Так и здесь. Только по этой трубе пойдет не поезд, а вода. Понятно?
- Теперь понятно, — сказала Женя, обидчиво поджав губы.— Точно я маленькая.
- Маленькая не маленькая, а знать не мешает, — наставительно заметил парнишка и снова провел черту. — А отсюда каждую секунду пойдет шестьсот пятьдесят кубометров воды на поля. Во! — сказал он, выпрямляясь, и солнце опять отразилось в его зеркально зачесанной, гордой голове с прямым, упрямым носом.
- Что за дискуссия здесь происходит? — спросил я, рассматривая нарисованную на асфальте карту Южной Украины и Крыма, пересеченную резкими прямыми линиями.
- Да вот, объясняю ребятам схему наших каналов, — сказал парнишка, бросил мел и вытер руки о штаны.
- А вы кто... гидролог?
- Нет, зачем! — добродушно улыбнулся он. — Мы тут разные. Лично я плотник, а другие из нашей группы которые маляры, которые штукатуры, а, например, Зинка у нас— альфрейщица. Где ты, покажись.
- Я здесь, — сказала молоденькая альфрейщица, высовывая из толпы носик, усыпанный золотистыми веснушечками, и, подумав, прибавила: — Мы в этом году кончили на «отлично» ремесленное училище, подали коллективно заявление на великую стройку коммунизма, получили ответ заказным письмом, что можно, и вот едем на попутных машинах, — и опять скрылась в толпе.
- Думаем закрепить до конца строительства, — сказал высокий молодой человек в лиловой футболке и тапочках.— Тут и жизнь будем строить, может быть, и стариков выпишем.
- Эй! Которые на реку Молочную? — закричал шофер грузовика, отъехавшего от колонки. — По коням!
- Молодые плотники, маляры, штукатуры и альфрейщица Зинка схватили свои сундучки и чемоданы и, становясь на колеса, полезли в грузовик. Через минуту они уже катили мимо станции на юг.

Бассейн против подъезда гостиницы был полон, и пассажиры двух маршрутных автобусов, только что прибывших из Ялты, черные, белозубые и белоглазые, еще не успевшие отвыкнуть от ежедневного утреннего купания в море, брызгали друг в друга бриллиантовой водой.

Пока дядя Саша на заправочном дворе готовил машину к последнему перегону, приехало и уехало множество машин, в том числе ленинградских такси, совершающих спортивный Пробег Ленинград — Симферополь, «Победа» двух украинских академиков, следующих на трассу канала, и черный таксомоторчик «Москвич» из Запорожья, который возил двух местных хозяек в Мелитополь на базар за фруктами. От них мы узнали, что в этой фруктовой Мекке уже появились первые абрикосы, хотя еще мелкие, как черешня, но уже сладкие, как мед, три рубля кило, а неслыханная розовая, красная и белая черешня, крупная, как мелкий абрикос, продается прямо-таки ведрами, почти задаром.

Павлик явился с заправочного двора в таком виде, который не вызывал никаких сомнений, что ребенок помогал дяде Саше вытирать мотор, но так как Каховский гидроузел еще не был построен, то вряд ли удалось бы привести мальчика в порядок с помощью местных водных ресурсов, и решили отмыть уже непосредственно в Черном море.

Мы сердечно простились с приветливой дежурной и девушками из ресторана в таких же коротеньких плиссированных юбках, как и в Мценске. Стало быть, оказалось, что это не какая-то оригинальная мценская мода, а стиль всех буфетов трассы. В остальном же девушки Зеленого Гая коренным образом отличались от мценских задумчивых блондинок в тургеневском вкусе: они были все как одна по-южному черные, с розочкой в волосах, настоящие Кармен.

На станции Зеленый Гай был свой радиоузел, помещающийся в башне. Когда мы выезжали из ворот, возле репродуктора уже толпился народ и слышался голос диктора, который громко разносился по степи:

— ...Широко развернулись изыскательские и исследовательские работы по определению вариантов трассы Южно-Украинского канала и створов плотины на реке Молочной, проведены топографическая съемка на площади тысяча сто квадратных километров, инженерно-геологическая съемка от озера имени Ленина, расположенного у Днепровской плотины, до города Мелитополя. Объем разведывательных работ с помощью бурения превышает тридцать тысяч погонных метров... Самоотверженно работают и строители новой железной дороги.

Дорога до Мелитополя неслась среди ровных полей и фруктовых садов. Каждое поле было окружено низкорослыми посадками. Желтые прямоугольники в светло-зеленых рамах белой акации придавали местности своеобразный характер, который усиливали степные колодцы — деревянные сооружения, состоящие из очень широких ворот, посередине которых на вертикальной оси установлен дощатый барабан с дышлом. Вращая его вручную или при помощи лошади, можно из очень глубокой скважины извлечь на веревке ведро солоноватой воды. Здесь все время дул суховей, и трудно себе было представить лучшее место для пуска бумажного змея с трещоткой.

Фруктовые сады занимали решительно ничем не отгороженные степные участки, каждый гектаров в десять, двадцать, а может, и больше, где в шахматном порядке стояли яблони, груши, абрикосы, сливы. Вертикальные и диагональные по отношению к линии шоссе ряды выбеленных стволов стройно уходили в перспективу и мелькали, плавно вращаясь вокруг невидимой оси, как

бы спрятанной где-то за плоским горизонтом. Иногда за деревьями появлялся шалаш из новой соломы.

Черешня уже поспела. Ветви гнулись под тяжестью почти черных, блестящих на солнце ягод, висящих снизу во всю длину ветки грузными кисточками.

Все это было давно известно и хорошо мне знакомо. Но мы увидели и нечто новое: питомники, в которых выращивались саженцы для озеленения поселков строителей трассы каналов — карликовые леса, где среди жаркой степи трепетали на ветру слабые прутики будущих пирамидальных тополей, белых акаций, дубов, шелковицы. Среди них, как добрые великаны, ходили с лейками и мотыгами мелитопольские комсомольцы, защищая свои будущие парки и скверы от губительного дыхания суховея.

Мы обогнали несколько передвижных электростанций, колонну грузовиков с буровыми станками. Потом нас обогнал семиместный красавец с украинскими академиком в серых габардиновых макинтошах и черных шелковых ермолках. Из окна машины высовывался кончик большого рулона синей кальки. Потом мы увидели среди голой степи строительство целого городка: ярко желтел на солнце свежий тес, крутились барабаны бетономешалок, могучая рука передвижного крана переносила по воздуху целый штабель пустых оконных рам, визжала электрическая пила, на стропилах копошились фигурки кровельщиков, и у въезда в «город» на громадном листе фанеры было написано известью «Укрводстрой».

Город Мелитополь начался очень длинной улицей, обсаженной старыми деревьями все той же белой акации. Однако улица эта была так широка, что тень деревьев не могла покрыть ее всю, и середина улицы жарко горела на солнце, и это особенно подчеркивало степной, южный характер города. В виноградно-зеленой сквозной тени акаций мимо палисадников шли с мешками и большими корзинами местные хозяйки и приезжие. Мы спросили, где рынок, но не получили ответа. На нас смотрели как глухонемые. Тогда я догадался, что надо спрашивать не рынок, а базар. Это слово тотчас заставило Сезам отвориться, и мы свернули на вторую улицу направо. Мягко покачиваясь на ухабах, покрытых подушками горячей пыли, машина проковыляла с полкилометра и остановилась у входа на базар. Это был, как мы узнали на обратном пути, не главный городской рынок, а привокзальный, что оказалось даже лучше. Именно здесь пассажиры целыми корзинами закупают знаменитые мелитопольские фрукты и набивают ими свои фибровые чемоданы.

Фруктовый сезон только что начался. Первые абрикосы, мелкие и не вполне зрелые, хотя и были дешевы, но для еды не вполне годились, и их пока брали лишь на варенье. Зато черешня превзошла все мыслимое в этом роде. Ее было так много, что мы почувствовали головокружение. Мы бегали вдоль базарных столов с громадными круглыми корзинами или просто так, без всяких корзин, заваленных горами черешни и листьями самых разнообразных сортов, от лаково-черной до желтой, как бледный янтарь, но одинаково спелой и действительно крупной, как мелкие абрикосы.

Прелесть мелитопольского базара, между прочим, заключалась в том, что разрешалось сколько угодно пробовать. Наши ребята довольно широко воспользовались этой южной базарной традицией. Но невозмутимые мелитопольские торговки и бровью не вели. Сложив могучие руки на груди, они равнодушно смотрели на безоблачное, пыльное небо своими красивыми глазами, такими же крупными, лаково-черными, как черешня, которую они продавали, в каждой ягоде которой отражался базар.

Наконец мы купили шесть килограммов неслыханной розовой черешни, заполнив ею кошелку, освободившуюся от московских запасов, и все соломенные шляпы. Мы так навалились на розовую черешню, что даже не заметили, как выехали из Мелитополя, и от города осталось лишь мимолетное впечатление чего-то тенистого, южного, с белыми каменными домиками, бульваром в центре и громадным экскаватором, застрявшим на переезде. То и дело мы выплевывали в окна крупные, как картечь, косточки и вытирали платками липкие рты и щеки. Впоследствии дядя Саша, со свойственной ему педантичностью, подсчитал по спидометру, что шести килограммов розовой черешни хватило нам ровно на шесть километров, так сказать шесть килограммо-километров. Из этого можно было заключить, что если бы мы всю дорогу ехали не на бензине, а на розовой черешне, то давно бы уже, несмотря на ее крайнюю дешевизну, вылетели в трубу.

Часа полтора мы катили среди еще более ровных, совсем плоских полей, отчасти уже убранных и уставленных длинными скирдами новой соломы. В одном месте мы промчались мимо еще одного строящегося городка, в другом сблизилась с железнодорожной насыпью, совсем низкой, почти в уровень поля. Она была обсажена все тем же кустарником белой акации, и по ней рядом с нами долго шел длинный товарный поезд с какими-то громоздкими машинами, гусеничными тягачами «ХТЗ», автомобилями и ящиками с надписью: «Стройкам коммунизма». Мелькнула одинокая железнодорожная станция, десятки грузовиков возле нее, семафор, кирпичная водокачка, товарные вагоны на путях, бегающий маневренный паровичок. Все время на пустынном горизонте в разных местах появлялись и прятались в хлебах элеваторы. Это были знакомые мне места старых прославленных колхозов-миллионеров — Акимовка, Ново-Алексеевка. Показались буровые вышки геологической разведки, палатки, барака, дымки кухонь...

Но вот поля мало-помалу кончились, незаметно перешли в бурую, выжженную степь. Солнце уже не просто пекло, а жгло сильно и беспощадно, будто жалило. На полотно шоссе больно было смотреть. Пришлось спустить дымчатый целлулоидный щиток. Еще хорошо, что машина была с брезентовым верхом, который не так сильно нагревался, как стальная крыша «лимузина». Через шоссе продолжали перебегать суслики, но это уже были не такие жирные, ленивые животные, как вчера, а рыжие, поджарые, степные. Вокруг не было ни единого деревца, только телеграфные столбы, при виде которых становилось как будто еще жарче. Мы проехали мимо голой железнодорожной платформы с длинным рядом белых, немного пожелтевших от зноя изотермических вагонов).

И мне вдруг вспомнились первые месяцы Магнитостроя: выжженная голая степь, новая железнодорожная ветка и на ней одинокий зеленый вагон с колоколом — первый вокзал будущего Магнитогорска. Косые башни смерчей неслись, закрывая солнце. Они были густые и рыжие, будто свалянные из верблюжьей шерсти. Копоть затмения крыла землю. Вихрь срывал и уносил в степь палатки. Казалось невероятным, что через несколько лет здесь будет гигантский металлургический завод, шесть самых больших в мире домен, коксохимический комбинат, социалистический город. Это было на заре нашей индустриализации, незабываемые, героические дни первой пятилетки, и в душе у каждого из нас звучала могучая музыка первых пятилеток: «Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют.

Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим!» И советский народ не только выдержал, не только победил, но вышел из Великой Отечественной войны таким окрепшим и могучим, что смог приступить к осуществлению величайшего в истории человечества плана преобразования природы, то есть снова могучим рывком вперед опередить время и выйти на самые ближние подступы к коммунизму. Вот почему, пересекая эту сухую, выжженную степь, мы уже как бы

видели вокруг цветущие сады, отражающиеся в каналах, слышали свежий шум днепровской воды и не только верили, а твердо знали, что это именно так и будет в самом непродолжительном времени.

Слева, чуть пониже горизонта, дрожала зеркальная полоса раскаленного воздуха, отделяя линию горизонта от остальной степи, что создавало полное впечатление какой-то реки или озера. Это был мираж, все время как бы меняющий свои очертания. Но, кроме того, вдалеке светилось еще что-то плоское, густо-синее, не кажущееся, а уже самое настоящее, и это было Азовское море.

Начались солончаки, розоватая трава, как бы робко тронутая изморозью. А через несколько минут мы уже ехали по берегу высохшего лимана, до самого горизонта покрытого пеленой соли, сияющей на солнце, как чистейший февральский снег. Можно было подумать, что мы волшебным образом перенеслись в какой-то очень яркий зимний день на берег громадного замерзшего озера, занесенного февральскими снегами. Сходство казалось тем полней, что вокруг не было никакой зелени, ничто на вид не напоминало о лете, белая пелена расстилалась, насколько хватал глаз, от белых кучек соли ложились синие тени, и если бы вдруг появились лыжники, то это бы нас несколько не удивило. Но как раз в эту минуту вместо лыжников навстречу нам по шоссе пронеслась — один за другим — длинная вереница черных от загара велосипедистов в трусиках и красных майках, с рубашками, надетыми на голову от солнца, — по всей вероятности, участники какого-нибудь велокросса. И видение зимы рассеялось, как мираж.

— Часть материка изрезана сложной сетью мелких заливов, невысоких кос, лиманов и проливов, носящих общее название Сиваш, или Гнилое море, — сказала Женя.

— Откуда ты знаешь? — удивился Павлик.

— Каждый культурный, образованный человек знает, — сухо ответила Женя, — от Азовского моря Сиваш отделяется узкой и длинной песчаной косой, которая лишь немногим не доходит до материка. Видите?

И точно. Мы действительно ехали по знойной, выжженной части материка, изрезанного сложной сетью мелких заливов, голубых, как аквамарин, невысоких шелковистых песчаных кос, синих до красноты лиманов и зеленых проливов, что создавало своей раскраской впечатление географической карты.

— Значит, здесь и пройдут трубы, — сказала Женя.

— А может быть, это будут как раз не трубы, — ответил Павлик с живостью.

— Он сказал, что трубы, тубинги, — сказала Женя, с уважением подчеркивая два слова: «он» и «тубинги».

— А я не стал бы делать труб, — ответил Павлик.

— А как же?

— Я бы лично пустил воду по специальной эстакаде.

— А интересно знать, как это ты пропустишь по эстакаде каждую секунду по шестьсот пятьдесят кубометров воды. Ты что-нибудь воображаешь? Это же целая река!

— Ну и что из этого, что река? Пусть река. Что мы, не сможем пустить какую-то несчастную реку по эстакаде? Теперь мы все можем! Вот будет здорово: внизу Сиваш, а поперек на столбах течет река. Скажешь — не здорово?

— Тебе всегда приходят в голову разные идеи.

— Это не моя идея, а я в газете читал, что, может быть, пойдет по эстакаде.

— Мало что ты читал! А он сказал, что пойдет по трубам.

— Мало что он сказал! А я считаю, что лучше по эстакаде.

— Спросим Инку.

— Спросим.

— Инка, как лучше — по трубам или по эстакаде?

Но молчаливая Инна пробормотала что-то невразумительное и продолжала широко открытыми глазами смотреть в степь, где снова появился зеркальный мираж.

Затем шоссе вынесло машину на широкий низкий мост с синими перилами, и зеркальные пуговицы сказали, что это Чонгарский пролив. Густо-зеленая азовская вода бурлила вокруг деревянных плугов ледорезов. Черная целебная грязь с серым, наждачным налетом соли покрывала низкие берега. Остро повеяло крепкой рапной вонью.

Едва мост кончился, как Женя захлопала в ладоши,

— Граждане, поздравляю: кончился третий, теперь уже девятый! Положение и общая характеристика. Из всех физико-географических областей, входящих в СССР, один Крым имеет почти исключительно морскую границу... Тем не менее это одна из областей Союза, пользующаяся наибольшей известностью среди широких масс населения. Известность Крыму дали своеобразие и красота приро...

— Знаем, знаем!

— Не сбивайте. Красота природы, — быстро заговорила Женя, — его южного берега, теплого синего моря, красивых гор, южной растительности, безоблачного неба...

— Постой! Хоть на минуточку остановись. Ради бога, объясни, что это значит? Ты все время загадочно выкрикиваешь: «второй», «девятый». А что — девятый?

— Ах, боже мой, как вы не понимаете. Билет! Девятый билет. Крым. Я за него получила на экзамене пятерку. Не сбивайте... «Безоблачного неба, ярких красок и солнца. Со словом «Крым» у нас связывается представление юга — тепла и солнечного бле...»

Действительно, мы уже мчались по Крыму. Безоблачного неба, тепла и солнечного блеска было даже больше, чем нужно. Пока Женя без сучка и задоринки горячо описывала будущий Северо-Крымский оросительный канал, который из Каховки пройдет через Сиваш до Джанкоя, а потом одна ветка направится по трубам на Керчь, а другая — на Евпаторию, причем все безводные районы Крыма покроются густой сетью более мелких каналов, мы успели проехать еще километров сорок.

Тут мы сделали свидетелями весьма любопытного зрелища. Вдоль дороги, подпрыгивая, катились сухие кусты перекати-поля, легкие и упругие, как плетеные корзинки. Иногда они останавливались, как живые существа, а потом снова продолжали кувыркаться. Некоторые перекати-поле, так же как и суслики, перебежали шоссе перед самой машиной, некоторые подскакивали, ударялись о радиатор и, как мячи, перелетали через машину назад. Это было очень забавно.

Вдруг большое перекати-поле выскочило из кювета и присело на обочине. Оно некоторое время сидело смирно, поджидая, когда мы приблизимся, а потом, кувыркаясь через голову, как акробат, ловко бросилось под машину.

— Мировой аттракцион, перекати-поле самоубийца, — объявил Павлик, и мы не могли не улыбнуться, так как это действительно было похоже.

Под машиной раздался частый стук, как будто кто-то закрутил деревянную трещотку. Дядя Саша пренебрежительно усмехнулся и дал девяносто, уверенный, что перекати-поле отцепится. Но стук не прекратился, а лишь сделался чаще. Тогда дядя Саша остановился и дал задний ход. Машина проехала назад с полкилометра, но стук не прекратился. Тогда дядя Саша с озабоченным лицом снова остановился, попросил всех выйти, лег на шоссе и полез рукой под машину. Он долго возился, затем шепотом ругнулся и стал доставать из багажника домкрат. Короче говоря, ушло по крайней мере пятнадцать минут, прежде чем удалось извлечь остатки перекати-поля, накрутившиеся на карданный вал. Вот какой крепкий стебель оказался у этого проклятого сорняка, с которым здесь ведется упорная борьба. Так что когда через некоторое время мы увидели большой трескучий костер, на котором колхозники сжигали кучу пойманных перекати-поле, разносивших свои зловерные семена на большие расстояния, мы это могли только приветствовать.

Мы проехали мимо еще одного строящегося городка трассы, несколько в стороне от Джанкоя, черепичные крыши которого виднелись в степи. Вообще здесь всюду было много новых черепичных крыш, белых домиков и ветряных двигателей, что очень оживляло степь. Ничто так не украшает местность, как высокие черепичные крыши!

Примерно за восемьдесят километров до Симферополя находилась последняя заправочная станция «Тимирязеве». Мы остановились для того, чтобы в последний раз заправиться. Может быть, потому, что эта станция одиноко стояла среди пустой степи, ослепительно освещенная яростным крымским солнцем, до того белая, что на нее больно было смотреть, она показалась нам особенно красивой.

Описывая заправочные станции, я, кажется, забыл подробно рассказать об одной вещи. Посередине цветника возле заправочных колонок на каждой станции, под прямым углом к шоссе, установлен специальный указатель маршрута. Слово «указатель» слишком невыразительно и почти ничего не объясняет. Это белая доска площадью по крайней мере в тридцать квадратных метров, высоко поднятая на тонких стальных трубах, выкрашенных серебряной краской. На ней толстыми прямыми линиями и черными кружочками городов вычерчена по вертикали схема всей трассы, на одной стороне — от Москвы до Симферополя, на другой — наоборот, с указанием километров. Наличие этих громадных белых экранов, видных издали, придает всей магистрали какую-то особую красоту точности и законченности, как вовремя поставленная точка в хорошо построенной фразе.

Так как нам предстояло через двадцать шесть дней возвращаться этим же путем, то дядя Саша, на всякий случай, аккуратно списал в свою записную книжку все данные этого указателя.

Возле заправочных колонок, обсаженных уже совсем по-крымски ночной красавицей, стояло несколько машин с крымскими номерами и один выдавший виды трофейный «мерседес», только что совершивший прогулку по Кавказскому побережью и возвращающийся обратно в Москву. Шофер трофейного «мерседеса» с жаром убеждал дядю Сашу, что если нам придет в голову мысль прокатиться по Кавказскому побережью, то чтобы мы ни в коем случае не переправлялись через Керченский пролив, так как во время сильного ветра паром не ходит и можно прождать на берегу несколько суток, и лучше всего погрузить машину в Ялте на теплоход и выгрузиться прямо в Новороссийске.

Мы не собирались ехать на Кавказ, но самый факт, что это так легко сделать — была бы охота! — привел нас в еще более радостное, веселое настроение.

— Мне пришла в голову одна идея, — сказал Павлик быстро. — Давайте погрузимся в Ялте, выгрузимся в Новороссийске и доедем до Сочи.

— Верно, — горячо поддержала Женя. — Увидим собственными глазами тринадцатый: Кавказ, его положение и общая характери...

— Не надо, не надо! — сказала мама, замахав руками. — Не все сразу. Надо доехать до конца девятого.

И мы бодро двинулись дальше по девятому. Скоро из-за горизонта показались голубоватые вершины крымских гор—сначала одна, другая, потом выступила вся горная цепь с Чатырдагом, Ай-Петри, Карадагом и волнистой линией Яйлы. И, как всегда в виду гор, местность оживилась, стала одухотворенней, романтичней. Начались виноградники, табачные плантации, по междурядьям которых кое-где полз, пыхтя, на автомобильных колесах маленький самоходный плужок с сидящим человечком в соломенной шляпе или тубетейке. В долине показались сады и крыши Симферополя, трубы консервных заводов, ряды высоких пирамидальных тополей, которые ребята сперва приняли за кипарисы. В соединении с еще более приблизившейся и заметно выросшей горной цепью и маслянисто-синим небом с одним-единственным маленьким круглым облачком это уже был настоящий Крым.

Перед самым въездом в Симферополь нас вдруг обдало горячим, сильным запахом каких-то очень ароматных цветов, кажется душистой герани или лаванды. Оказалось, это громадная плантация растений, идущих для парфюмерной промышленности, может быть лекарственных.

Синяя длинная доска на серебряных ножках весело сказала: «Симферополь». Мы промчались — с креном на поворотах — краем белого южного города, утопающего в зелени шелковиц, уксусных деревьев, пирамидальных тополей, каштанов, белой акации, и остановились на асфальтовом зеркале симферопольской заправочной станции против больших красных гаражей, возле последнего столба с цифрой «1399». Но нам нужно было еще проехать километров сто двадцать до Коктебеля, и мы, наскоро пообедав в ресторанчике при заправочной станции, отправились, не теряя зря времени, дальше по местному шоссе, уже далеко не такому великолепному, но все же очень хорошему.

Теперь мы ехали по предгорьям Крыма, строго на восток. Послеобеденное солнце светило нам в спину, тень автомобиля, постепенно удлиняясь, бежала впереди. На поворотах она отклонялась

вправо или влево, как стрелка компаса. Мы огибали подошвы гор, до самого верха поросших дубовым кустарником, проезжали по долинам в тени вековых пирамидальных тополей, настолько старых, что верхние ветки их уже кое-где стали умирать и торчали голые прутья, мимо крымских деревень с глинобитными заборами, бледно-розовыми или бледно-голубыми, купоросного оттенка, мазанками, повернутыми задней стеной на улицу, с почти плоскими кровлями, крытыми круглой турецкой черепицей. Появилась белая крымская пыль. Местами потягивало кизячным дымком. По склонам косо ползли отары светлых овец. Между гор на каждом сколько-нибудь удобном месте желтели пшеничные поля, ожидающие начала уборки. Наконец при свете заходящего солнца мы увидели гору Митридат и Феодосию. На другой день, сидя в плетеных креслах на открытой террасе, под которой росли матово-серебряные дикие маслины, цветущие деревья розовой акации, тамариски, мы уже любовались зеленым от крепкого синопского ветра морем, таким взволнованным, таким айвазовским, как будто оно только что было написано блестящими, еще не успевшими высохнуть масляными красками, а ровно через двадцать шесть дней машина снова увозила нас обратно в Москву. И все плавно закружилось в обратном порядке: сначала девятый, потом десятый, потом третий, как грустно заметила Женя.

Теперь поля уже были всюду убраны, оголены. Жнивье отливало на утреннем солнце слюдяным блеском, и таким же слюдяным, степным блеском отливали выжженные предгорья, покрытые коврами бледно-лиловых иммортелей. Пока длились наши путевки, здесь уже всюду прошли комбайны. Местами происходил обмолот. На токах полевых станов были навалены, не преувеличивая, дюны зерна. Кое-где его сушили и веяли на транспортерах, заданных вверх. По движущемуся полотну транспортера, как по шоссе, бежала лента зерна и сыпалась на другой транспортер, потом на третий, пока наконец окончательно очищенное и высушенное зерно не собиралось в громадную, на глазах растущую сопку.

Все время приходилось обгонять грузовики, доверху наполненные пшеницей, или уступать дорогу ползущим на север комбайнам. Это весьма напоминало прифронтовую дорогу в разгар наступления, когда артиллерия меняет позиции и понтонные части спешат к переправам.

Снова мы проехали по тенистым улицам Старого Крыма вдоль садов, увешанных спелыми, пыльно-бирюзовыми сливами, мимо столетних тополей, увитых плющом, мимо мутной, мелкой горной речки, в долине которой среди старых фруктовых деревьев лежали огороды, похожие на черные шерстяные ковры с вытканными зелеными букетами — капустой. Проехали через бывший Карасубазар, ныне Белогорск, город, более похожий на большое село восточного типа, с глухими глиняными заборами, старой черепицей, бледно-голубыми и бледно-розовыми мазанками, что в целом напоминало открытку, чуть подкрашенную слабой акварелью. Только теперь все было жарко озарено блеском соломы, укладываемой в скирды почти в каждом дворе.

Снова среди солончаков Сиваша нам явилось видение будущего Северо-Крымского канала, и снова, жадными глазами всматриваясь в пустую, голую степь, ребята заспорили о том, как пойдет днепровская вода — по трубам или по эстакаде. И снова я вспомнил первые незабываемые месяцы Магнитостроя, «Время, вперед!» и могучую, непобедимую музыку первых пятилеток.

Перед закатом мы достигли Зеленого Гая, то есть проделали около трети дороги. Однако на этот раз в Зеленом Гае мы не остановились на ночлег, а лишь заправились.

Снова возле бассейна перед белоснежной гостиницей стояли дизельные автобусы линии «Москва — Симферополь» и «Харьков — Ялта», на террасе ресторана и на скамеечках сидели пассажиры, на заправочном дворе у электрических колонок толпились грузовики, нагруженные

электрооборудованием завода «Запорожсталь», а по радио передавалась опера «Евгений Онегин», и на всю степь гремел голос мосье Трике: «Ви роза, ви роза, ви роза, бель Тати-а-на...»

Было решено дотянуть до Днепропетровска, где я хотел повидаться со своей старенькой теткой, единственной оставшейся в живых сестрой покойной матери, и показать ей своих ребят, то есть ее внучатых племянников, которых она никогда не видела. Для этого нам следовало свернуть с магистрали на Запорожье, переехать на правый берег Днепра по дамбе Днепрогэса, затем сделать километров восемьдесят по неизвестному нам шоссе до Днепропетровска, там переночевать, утром переехать обратно на левый берег, добраться до Новомосковска, а там уже снова свернуть на главную магистраль. Мы так и сделали.

Я помню город Запорожье в то время, когда он еще назывался Александровском. Было лето девятнадцатого года, троица, самый разгар гражданской войны. Наш эшелон со старыми зелеными трехдвоймовками уже стоял у перрона. Цвела белая акация, недавно прошла гроза, теплые лужи пахли, как одеколон. На привокзальной площади стояли порыжелые от солнца реквизированные экипажи, бегунки и поповские брочки, на которых приехали командиры и комиссары частей, отправляющихся на фронт, а он был уже совсем недалеко, где-то под Лозовой. Жарко пахло кожей экипажей и лошадиным потом. Красноармейцы уже стояли в открытых дверях теплушек, украшенных ветками белой акации. Оркестр играл «Интернационал». Эшелон тронулся. Молодой командарм стоял на ящиках от патронов, худощавый, стройный, в черном кожаном пальто, туго перетянутом офицерским поясом, в кожаной комиссарской фуражке, с маузером в деревянной кобуре, и махал вслед уходящему эшелону веткой акации, сплошь покрытой мокрыми кистями белых цветов. На фоне разорванной лиловой тучи стояла огненно-фиолетовая радуга, и казалось, что эшелон уходит в ее резко очерченную прозрачную арку, огибая по высокой насыпи город Александровск, его раскинувшиеся внизу почерневшие черепичные крыши, по южному тенистый провинциальный бульвар с виднеющимися за ним островом Хортица и правым берегом Днепра, где тогда хозяйничали банды атамана Чайковского.

Все это живо вспомнилось мне, как только мы въехали в Запорожье. Город, конечно, сильно изменился, вырос. Но я сразу узнал длинный бульвар, породы деревьев, некоторые дома — все, что сохранилось от бывшего Александровска. Возле нового театра, под густыми деревьями, прогуливались зрители. Вероятно, только что начался антракт между первым и вторым действиями, и публика по южному обычаю проводила его вместо душного фойе на тротуаре. Переполненный трамвай вез куда-то множество спортсменов в синих и красных майках с номерами. На улицах было очень оживленно, как обычно в южном городе вечером.

Мы остановили двух красиво причесанных и нарядно одетых молодых людей без галстуков и без шляп и спросили, как проехать к плотине. С видимым удовольствием, радушием и скромной гордостью они подробно объяснили, по каким улицам надо ехать, поспешив прибавить, что это совсем недалеко — всего семь километров — и мы поспеем на плотину засветло. Но уже проехав два или три километра по пыльной, почти деревенской, хотя и мощеной, улице пригорода старого Запорожья, мы вдруг очутились в соцгороде, среди огромных жилых корпусов с зеленью на балконах. Они следовали один за другим, поодиночке или целыми кварталами, выстроенные в самых разнообразных стилях довоенных и послевоенных пятилеток, причем ни одного не было старше двадцати лет. На некоторых еще виднелись следы войны — обвалившаяся штукатурка или черные пятна пожара. Иные дома были только что выстроены, а иные еще только строились — стояли в металлических лесах, и всюду за ними виднелись серые профили заводов, множество труб, тучи седого дыма и толпы высоковольтных столбов всевозможных конструкций и профилей:

четырёхрукие, шестирукие, двойные, тройные. Можно было подумать, что они отовсюду пришли сюда, таща на могучих решетчатых плечах тяжелые сети проводов, с тем чтобы взять электрическую энергию и снова разойтись через поля, реки и горы во все стороны Украины и за ее пределы. Казалось, весь воздух насыщен здесь электрической энергией чудовищного напряжения.

Мы долго стояли перед семафором, прежде чем пересечь длинный широкий бульвар, усаженный несколькими рядами сильно разросшихся деревьев. Когда я приезжал сюда во время строительства Днепрогэса, на этом месте вообще еще ничего не было: дикое, пустое пространство с колючками и сусликами. Теперь это был центр большого соцгорода, построенного целиком и полностью советской властью. А между тем он совсем не казался новеньким, с иголочки. Это был уже вполне обжитой город, с двумя поколениями коренных жителей, прославленный на весь Советский Союз своей могучей индустрией, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, наконец, своей славной историей. В сочетании с южным многолюдством улиц, южными породами деревьев и мягким говором толпы он производил особое, милое, впечатление.

Мы проехали еще несколько таких же громадных кварталов в сторону от бульвара и вдруг увидели совсем близко шлюзовый механизм, какую-то колоссальную, поднятую вверх раму со сложным переплетением тросов, и тотчас за ним — бетонное ребро верхней части плотины, из-за которого било в глаза заходящее солнце.

Так как мы приблизились к плотине сбоку, то не могли видеть ее всю в целом, а увидели только ее крайний верхний срез. В следующую минуту мы поняли, что уже едем по самой плотине. Справа тянулись мощные, высокие ребра с медными цифрами, убывающими по мере приближения к правому берегу: 50, 49, 48... В пролетах появлялось и исчезало большое розовое солнце, сплошным зеркальным сиянием отражаясь в полноводном озере верхнего бьефа. Это было озеро имени Ленина, то самое, откуда должен начаться Южно-Украинский канал. Узнав об этом, ребята пришли в сильнейшее волнение, и я опять услышал за спиной слова «трубы», «эстакада», «тюбинги». Слева, глубоко внизу, как на дне пропасти, струились жалкие остатки Днепра — мелкая вода нижнего бьефа с торчащими из нее голыми, острыми скалами, покрытыми мрачной, зубчатой тенью плотины, и наша машина ползла по ней, как муха по краю ступени. Какова же была мощь этой бетонной ступе ни, этого вогнутого зубчатого барьера, удерживающего своим телом Днепр, вес всей его воды и силу его течения? Какова же вся эта дикая природная энергия, так разумно превращенная человеком в электрический ток, направленный по сети высоковольтных линий в разные стороны, для того чтобы приводить в движение сотни заводов, фабрик и электротракторов? Какова же сила Советского государства, так быстро построившего эту крупнейшую электростанцию и еще быстрее ее восстановившего после войны и приступившего к неслыханному всенародному строительству более десятка подобных же сооружений, из которых одна лишь Куйбышевская гидроэлектростанция в пять раз больше Днепрогэса!

Плавно съехав с плотины на правый берег, мы обогнули целый лес масляных выключателей и глухое бетонное здание пульта управления, где нажатием одной кнопки можно включить или выключить целый район, питающийся током Днепрогэса. Город продолжался и на правой стороне. Такие же громадные здания с настурциями на балконах, такие же бульвары, парки, также много цветов, асфальта, литых чугунных фонарей. Здесь мы увидели целые улицы хороших коттеджей, сохранившихся с того времени, когда Днепрогэс еще был Днепросрогом. Я приезжал сюда с Демьяном Бедным, когда только что закончили рытье котлована и вкладывали

первые кубометры бетона тела плотины. По дну Днепра ползли паровозы, и колоссальная опалубка, усеянная тысячами бетонщиков, опалубщиков и арматурщиков, окруженная дощатыми сараями камнедробилок, бетономешалками и стрелами дерриков, похожих на катапульты, напоминала осаду Трои. Правый берег соревновался с левым, и по ночам берег-победитель зажигал торжественные огни. Главная контора строительства находилась на правом берегу, и уже тогда было много коттеджей, окруженных хилыми саженцами. Теперь это были уже довольно старые — во всяком случае, двадцатидвухлетние — деревья и кусты, придающие городу обжитой, уютный вид.

Все время сопровождаемые богатырского роста высоковольтными столбами, которые растянулись по три в ряд вдоль всего шоссе, к одиннадцати часам ночи мы приехали в Днепропетровск, повидались с тетей, переночевали под звуки паровозных гудков в превосходной, но до последней степени переполненной артистами двух гастролирующих театров гостинице «Астория» и рано утром переехали по одному из двух мостов обратно на левый берег Днепра, который здесь достигает полутора километров в ширину.

Здесь все носило на себе тот особый индустриальный отпечаток, который в соседстве с огромной судоходной рекой, с ее пароходами, речными трамваями, водными станциями, навигационными знаками и могучими железнодорожными мостами, по которым катятся длинные товарные составы с машинами, создает внушительное зрелище.

Мы долго ехали по пескам Приднепровья, среди заводов и фабрик, пока наконец не выехали за город. Тут нас развеселила забавная картинка. Мы обогнали телегу, в которой два колхозника везли громадную свинью. Свинья сидела сзади. Она не лежала, а именно сидела, сгорбившись и развалившись, как человек, и всем своим брезгливо-недоброжелательным видом напоминала какой-то гоголевский персонаж — не то городничего, не то Собакевича. Можно было подумать, что она едет по какому-то чрезвычайно важному делу. Между тем, когда через две минуты мы проезжали через большое богатое село, то увидели колхозный базар со множеством больших унылых свиней, которые уже лежали на земле, связанные, как мешки. Таким образом выяснилось, что нашу высокомерную свинью просто-напросто везли продавать, чего она, вероятно, даже и не подозревала.

В Днепропетровске я узнал от тети, что хотя мои родители действительно венчались в Новомосковске, но не в соборе, а в какой-то маленькой, давно уже не существующей, чуть ли не лагерной, гарнизонной церкви, так как именно в это время полк, в (Котором служил дедушка, мамин отец, стоял в Новомосковске. Тем не менее, когда около Новомосковска мы выехали на главную магистраль и я опять увидел бело-зеленый собор, воображаемая картина маминой свадьбы с новой силой встала передо мной, и я до сих пор не могу от нее избавиться, верю в ее подлинность.

В полдень, проезжая через большое колхозное село, то самое, которое запомнилось нам половиной хатки, мы остановили пожилую женщину и спросили, где тут можно купить молока или сметаны. Хотя женщина шла в колхозную поликлинику вставлять зуб, она повернула назад, повела нас к себе и вынесла из погреба два потных глечика, а также несколько глубоких тарелок и алюминиевых ложек. Мы прямо на улице, перед плетнем, на мелкой деревенской травке, расстелили свой плед и под звуки Шестой симфонии Чайковского, гремевшей в середине хаты, стали есть такую сметану, для описания которой у меня не найдется достойных красок, несмотря на весь мой многолетний литературный опыт. Это было нечто сверхъестественное!

Из хатки вышла взрослая дочь хозяйки с годовалым толстым мальчишкой на руках, затем появилась девочка, внучка лет десяти, в сопровождении двух малорослых собачек с хвостиками, завернутыми как бублики. Собаки носили, как сообщила словоохотливая внучка, несколько изысканные имена — Роза и Кукла. Возле них, нежно повизгивая, крутились два прехорошеньких щенка с черными носиками и черными глазками.

— А вас как зовут, мальчик? — спросила внучка Павлика.

— Лично меня — Павел. А тебя?

— Наталка. Наш папка говорит, что я Наталка Полтавка.

— Почему именно Полтавка? — строго спросил Павлик. — Разве пут Полтава?

— Потому, что есть такая опера «Наталка Полтавка», ее каждую субботу из Киева передают, а наш папка смеется, что я Наталка Полтавка. А вы сами, наверное, из Москвы?

— Откуда ты знаешь?

— У вас на машине московский номер. У нас тоже есть машина, только она велосипед, марки «ХВЗ», вы, наверное, слышали? На нем наш папка ездит «у степ» устанавливая в полевых станах аппараты «Урожай», потому что он у нас, кроме того, радиотехник, а когда наша семья полностью получит на трудодни, тогда он тоже обещал купить в Киеве автомашину марки «Москвич».

— Это еще не кажи «гоп», — заметила бабушка, поправляя на разболтавшейся внучке кофточку.

— А я кажу «гоп», — быстро ответила Наталка Полтавка, поводя плечиками, — потому что в бухгалтерии нашего колхоза папке сказали, что нам приходится больше чем одна тысяча двести трудодней. И тогда мы до вас приедем в гости на синем «Москвиче» по Симферопольской трассе, — прибавила она, искоса глядя на Павлика. — А вы, Павел, в какой класс ходите?

— Буду ходить в седьмой.

— А я пойду уже в четвертый. А у вас в школе какой язык проходят?

— Английский.

— И у нас английский. Дыс из а уиндев. Дыс из а мэп. Тхэ бук из он тхэ тэбл. Верно?

— Верно, только я не понимаю, что это за такое «тхэ».

— Ну, не «тхэ», а «вэ».

— А может быть, «цзе» ?

— Может быть, и «цзе», только вам хорошо, у вас все зубы выросли, а у меня еще один молочный шатается, и через это я не имею правильного произношения.

— Ладно. Хау ду ю ду? — строго спросил Павлик.

— Это мы еще не проходили.

— Ага! — назидательно заметила бабушка. — А берешься балакать с молодым человеком по-английски. Спрячься.

— Я еще знаю «гуд бай», — сказала Наталка Полтавка, но тут разговор на иностранном языке прервался, так как Павлику вдруг пришла идея взять одного из щеночков с собой в Москву.

Женя тотчас подхватила эту идею и стала развивать план образования и воспитания щенка в столице:

— Я его буду купать... Я его буду чесать... Он у меня будет всегда чистенький, хорошенький, воспитанненький...

— Почему это именно у тебя? — обидчиво спросил Павлик.

— Потому, что я его люблю и он будет мой, — пожав плечами, ответила Женя.

— Ну уж нет. Раз идея моя, значит, и щеночек мой.

— Ничего подобного. Попролам. Идея твоя, а щенок мой. Правда, Инночка?

Но Инночка загадочно молчала, только ее черные глаза с материнской нежностью смотрели на щенков.

— Перестаньте болтать глупости! — строго сказала мама. — Не хватало нам еще в машине щенков. И так друг на друге сидим. Никаких собак!

— Понятно, — неразборчиво сказали ребята и сейчас же стали странно переглядываться, шептаться и хихикать.

Одним словом, когда, съев сметану и облизав ложки, мы снова уселись в машину, в багажнике вдруг раздался жалобный писк.

— Эх, не мог подождать до Москвы! — сокрушенно заметил Павлик, и щенок, осыпавшийся горестными поцелуями и обливаемый слезами, был высажен из машины, так и не получив столичного воспитания.

— Гуд бай! — закричала Наталка Полтавка.

— Хау ду ю ду! — ответил Павлик.

И снова шоссе понесло нас на север, мимо домиков линейных мастеров, заправочных станций, дорожно-рабочих пунктов, площадок отдыха, милиционеров рядом с синими мотоциклами, мимо дорожных знаков — треугольников против школ, красных крестиков против больниц, восклицательных знаков на железнодорожных переездах, — по сияющим голубым и серебряным мостам, по насыпям, с мелькающими столбиками, бело-черными, как аисты.

До сих пор я еще ничего не сказал о больших, ярких плакатах, расставленных на серебряных ножках вдоль всей магистрали. Один за другим они плавно набегали издали, бросались в глаза и проносились мимо, каждую минуту напоминая о том, чем живет сегодня родина. Шахтер с лампочкой на голове, бросающей вперед пучок желтых лучей, требовательно говорил: больше угля стране! Красивая молодая женщина со снопом в руках говорила, что высокий урожай увеличивает богатство Советского государства; плотина гидроэлектростанции с пенными струями, бьющими из гребня шлюзов, требовала отдать все силы великим всенародным стройкам коммунизма и напоминала, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны; белый голубь, вылетающий из рук девушки в синее небо, говорил о мире; косые зеленые

клетки полезащитных насаждений и синие схемы каналов, проведенные среди пустынь, открывали грандиозные перспективы плана преобразования природы; мичуринские плоды, лысенковские злаки, люди разных профессий, книги, нефтяная вышка, электровоз, пальма, микроскоп, корзина с виноградом — все это, пролетая мимо нас, на разные лады повторяло о мире, о коммунизме.

Не останавливаясь, мы проскочили Харьков, Белгород, Обоянь.

— Ну, кончился наконец десятый, пошел опять третий,— грустно сказала Женя, когда мы миновали знакомый красный обелиск.

Проезжая через Обоянь, мы были свидетелями поразительного зрелища. На протяжении примерно трех километров по краю асфальта тянулась лента рассыпанной пшеницы, которую колхозники сушили прямо на раскаленном асфальте шоссе. Стояли шеренги наполненных мешков, проплывающих мимо нас, как на конвейере. Мы обгоняли десятки грузовиков, заваленных такими же мешками. Значит, местные колхозы уже сдали зерно государству, и только что началась выдача аванса в счет трудодней.

Теперь мы видели днем те места, между Обоянью и Курском, по которым раньше проехали ночью. Это были все те же широкие, черноземные поля, но я знал, что приближается левый фланг Орловско-Курской дуги. Слева, возле самого шоссе, показалась ограда сквера и посреди него — очень высокий, белоснежный, четырехгранный столб. Наверху столба стояла статуя советского воина в плаще и каске. Он держал высоко над головой автомат, и вся его стремительная фигура отчетливо и строго рисовалась в пустой синеве летнего неба как воплощение вечной славы и вечной памяти в одно и то же время. У подножия мелькнули венки и ленты. И снова я испытал такое чувство, будто все вокруг опять охвачено грозной тишиной войны и эта тишина — громадная, подавляющая — стоит от неба до земли, как бы предостерегая и все время заставляя напряженно вслушиваться в странные колебания воздуха над северным горизонтом. Видимо, это мое чувство передалось и ребятам, так как они вдруг притихли. Мелькнул дорожный указатель, и зеркальные пуговички предупредили: «Парк Орловско-Курской дуги 10 км». Справа, возле шоссе, — установленный на белом цоколе черный танк с красной надписью на броне — «Колхозник Татарии». По сторонам танка стояли две гипсовые фигуры автоматчиков с откинутыми за спину плащ-палатками. Мимо цветников в глубь степи тянулись дорожки, обсаженные молодыми деревцами, и вдалеке виднелось еще несколько гипсовых фигур, маленькая противотанковая пушка и зенитный пулемет. Мы остановились и вышли из машины.

Павлик подбежал к дорожному указателю и громко прочел:

— «Здесь, на Курской дуге, с 6 по 15 июля 1943 года Советская Армия нанесла сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам, стремившимся к порабощению нашей Родины».

Некоторое время он стоял молча и вдруг закричал:

— Товарищи, смотрите, тот самый телеграфный столб, тот самый танк, то самое поле! Я его сразу узнал. Помните картину в Третьяковской галерее «На Орловско-Курской дуге»? Это здесь, на этом самом месте! Только нет пожаров! Смотрите, смотрите!

— Тише! — сказала Женя вполголоса, почти шепотом. — Здесь не надо шуметь: это поле битвы.

С серьезным лицом она пошла на цыпочках и сорвала несколько веток цикория с бледными голубыми цветами, и я понял, что она их сорвала не для гербария, а на память.

Одновременно с нами к парку подъехала другая машина — синий «Москвич»; из нее вышел генерал в красных лампасах, с женой, и теперь они медленно шли об руку по дорожке, мимо цветников и скамеек парка. Генерал снял фуражку, вытер платком остриженную седеющую голову, отливающую на солнце кавказским серебром с чернью. Иногда генерал останавливался и внимательно оглядывался по сторонам, как человек, попавший в родные места и узнающий забытые предметы.

А громадная тишина продолжала стоять над странно знакомым, уже убранном полем, и по другую сторону шоссе, недалеко, как раз против черного танка, среди сияющего паутиной жнивья стоял закончивший работу комбайн, в тени которого, положив под голову свернутый макинтош, спал комбайнер. И этот комбайн тоже казался памятником. И нелегко было понять: как пахарь, битва или, наоборот, как битва, пахарь отдыхает?

Мы некоторое время молча, с непокрытой головой стояли возле черного танка, а потом поехали дальше, время от времени встречая по дороге братские могилы и памятники, связанные с битвой на Курско-Орловской дуге. И среди них особенно сильно, требовательно звучали слова на дорожном плакате: «Миру — мир!» — женщина с суровым лицом, прижимающая к груди ребенка, держит в руке лист бумаги — «Закон о защите мира».

В сумерках проехали Орел. Возле Мценска зажгли фары. Над станцией обслуживания в ночном небе уже горели неоновые и аргоновые вывески и вкрадчиво теплилась Венера. На этот раз гостиница оказалась переполненной, и нас всех устроили в запасной комнате общежития, где мы превосходно переночевали, хотя и в тесноте, но не в обиде, на удобных кроватях, которые, впрочем, уже назывались койками.

И вот наступил последний день нашего путешествия.

До сих пор над нами все время было жаркое, совершенно безоблачное небо, которое мы как бы везли с собой из Крыма. Но перед Тулой на горизонте показались облака. Они постепенно разбежались по всему небу, и теперь это уже было не южное, а милое среднерусское небо последних чисел июля, не знойное, а просто горячее, с островками тучек, так нежно смягчающими солнечный блеск.

Нас охватило нетерпеливое желание поскорее приехать в Москву. Дядя Саша полностью разделял это общее настроение и, надев очки, жал во всю ивановскую.

Мы промчались по Туле. За Серпуховом навстречу нам грянул торжественный марш духового оркестра. Блестели трубы, развевались голубые знамена, на трибуне виднелись летние картузы «отцов города», шумела толпа, на траве стояло много разных легковых машин, мотоциклов, в ромашках лежали велосипеды. Прыгая по зеленым кочкам, прямо в лес пронеслась колонна мотоциклистов в ярких комбинезонах с большими номерами, в яйцевидных серебряных шлемах, не надетых, а как бы поставленных на голову, так что у каждого мотоциклиста казалось по две головы, одна на другой. Это был старт какого-то большого мотокросса по пересеченной местности. И вся живописная, яркая картина так подействовала на ребят, что они вдруг запели хором: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» — в темпе бодрого марша,

причем Павлик весьма художественно изображал губами звуки и тромбона и турецкого барабана в одно и то же время.

Мы обогнали вереницу грузовиков с большими четырехосными прицепами. Они везли из Крыма в Москву фрукты и овощи. В щелях решетчатых ящиков, уставленных штабелями выше бортов, виднелись яркие, лакированные помидоры, белокурые, крепко завитые головки цветной капусты, крупные черно-лиловые сливы, покрытые пятнами бирюзовой пыли. Потом мы обогнали несколько таких же грузовиков с яблоками из Орловской и белыми вилками ранней капусты из Курской области и из Запорожья. Впоследствии я узнал, что в этом году оттуда по шоссе завезено в столицу свыше пяти тысяч тонн фруктов, то есть больше десяти железнодорожных составов!

Пронеслись по чеховским местам, и я снова почувствовал в них что-то бесконечно родное, неповторимое, как живопись Левитана, как музыка Чайковского. И я вдруг так живо представил себе усадьбу Мелехово, дружную чеховскую семью, приезжих гостей, двух такс — Хину Марковну и Брома Исаевича — и самого Чехова в полотняном картузе, красивого, с прекрасным белым лбом, который собирает в Лопасненском лесу грибы вместе с молодой, необыкновенно красивой девушкой. Лика держит его под руку, а он, пошевеливая тросточкой молоденькие елки, под которыми сидят во мху боровички, похожие на только что испеченные булочки, искоса поглядывает на Лику через пенсне со шнурком добрыми, грустными, немного смущенными глазами.

И мне снова, как и всегда, когда я проезжаю здесь, показалось, что на всем — и на этих густых лесах и на этом нежном небе с тенистыми тучками — лежит неуловимый свет какой-то давней любви, какого-то грустного несбывшегося счастья.

А вокруг было столько радости, движения! Вот место, где мы обогнали учительницу на велосипеде. Шоссе продолжало стремительно нестись, увлекая назад домики линейных мастеров, площадки отдыха...

Только теперь, проехав туда и обратно, мы полностью почувствовали, какое, в сущности, громадное сооружение эта магистраль Москва — Симферополь, сколько в нее вложено вдохновенного труда, художественного вкуса, технической мысли.

Я не люблю дикой природы. Пустое море меня пугает. Дремучие леса и безлюдные горы наводят уныние. Природа хороша лишь тогда, когда ее одухотворяет деятельное присутствие человека — строителя и преобразователя мира, вооруженного высшим разумом и непреклонной волей. Теплоход в открытом море. Маяк на скалистом берегу. Альпинист, поднимающийся на пик. Шоссе, проложенное в тайге. Плотина электрической станции, смирившая реку. Мичуринская яблоня. Ветвистая пшеница Лысенко. Хлопковая плантация. Полоса зеленых насаждений. Канал в пустыне. Вот что делает природу повстине прекрасной! Природа — это самое консервативное из того, что есть в нашей стране. И мы не зря, для того чтобы построить коммунизм, приступили к ее коренному преобразованию. Мы заставили ее нам служить.

Казалось бы, что особенно замечательного в шоссе, по которому мы неслись, приближаясь к Москве? Мы уже так привыкли к размаху наших пятилеток, что иногда равнодушно проходим мимо громадных, даже удивительных сооружений, которые на первый взгляд кажутся нам незначительными. Между тем, когда мы начали приблизительно подсчитывать, то выяснилось, что асфальтом симферопольской магистрали можно было бы покрыть площадь примерно в пятнадцать квадратных километров и если бы можно было на эту площадь свезти все шоссейные

сооружения, то получился бы город в несколько сот превосходных домов и особняков очень красивой, оригинальной архитектуры, покрытых черепицей, с десятком ресторанов, двумя гостиницами, множеством гаражей, собственными электростанциями, водопроводом, канализацией, телефонами, дорожной милицией и радиоузлами — совершенно новый город, построенный в каких-нибудь три года.

Ребята были так поражены этим открытием, что некоторое время молчали, а потом Женя сказала:

— Граждане, выходит, что наша дорога — тоже стройка коммунизма?

— Выходит, что так.

— А мы едем и ничего не знаем, — прибавил Павлик и вдруг закричал: — Подольск!

Мы промчались через Подольск и стали подниматься в гору. По сторонам широкого, закругляющегося шоссе замелькали знакомые серебряные столбики; на каждом из них красная зеркальная пуговичка, блестящая, как малиновый леденец.

— Подождите!

Машина остановилась. Мы вышли из нее, спустились вниз по откосу шоссейной насыпи и очутились перед деревянным домиком с маленьким мезонином. На крашеной бревенчатой стене была прибита белая мраморная доска.

Через низенькую калитку мы вошли в палисадник, где вдоль чистой дорожки росли ряды высоких бальзаминов с полупрозрачными голенастыми стеблями. И мы снова испытали такое же, ни с чем не сравнимое волнение, как и в Ясной Поляне, когда из кустов столетней сирени смотрели на белый флигель с зеленой крышей. Только теперь это волнение было, пожалуй, еще острее, глубже. За уездным домиком находился тесный фруктовый сад, уютный, тенистый, в конце его серебристо трепетали на солнце несколько громадных, старых ив, а за ивами виднелся высокий глухой забор с открытой калиткой, в которую был виден крутой противоположный берег реки Пахры.

Мы поднялись на крылечко. Ребята шли, взявшись за руки, старались не скрипеть сандалиями. Мы увидели кухню с русской печью и запечьем, занавешенным ситцевым пологом. За нею следовала небольшая комната в духе тех уездных столовых, в которых не только обедали, но и спали и принимали гостей: бумажные обои, простые стулья, фикусы, стол и над ним висячая керосиновая лампа под белым колпаком, и все это освещено сквозь белые кисейные занавески мутной зеленью летнего сада.

Посреди комнаты стояло несколько девушек и юношей с сумками и свертками в руках — экскурсия московских студентов, которым давала объяснения директор музея:

— Этот домик принадлежал местной учительнице Кедровой, сдававшей его Марье Александровне Ульяновой, матери Владимира Ильича, которая жила здесь со своими детьми — Марьей Ильиничной и Дмитрием Ильичем. Сюда в девятисотом году летом приехал Владимир Ильич после Шушенской ссылки и несколько недель гостил у матери перед отъездом за границу. Как видите, здесь семья Ульяновых жила в еще более скромных условиях, чем в своем домике в Симбирске. В нижнем этаже помещались Марья Александровна, Дмитрий Ильич и Марья Ильинична. Сам же Владимир Ильич жил наверху, там он и работал.

— Простите, это все вещи подлинные? — ломающимся юным баском спросил высокий студент в спортивной рубашке на «молнии», который все время что-то быстро записывал шариковой авторучкой в записную книжку.

— Лампа и обеденный стол подлинные, — ответила директор.

И вдруг эти обыкновенные вещи приобрели какое-то новое, необыкновенное значение. Они уже не были просто столом и просто лампой, а именно тем самым столом, за которым обедал в крупную семью Владимир Ильич, и той самой лампой, которой он, наверное, не раз касался и даже, может быть, которую зажигал своими собственными руками. Это волшебство подлинности было так неотразимо, что студенты один за другим стали на цыпочках подходить, отворачивать скатерть и осторожно трогать этот «ленинский» стол и касаться пальцами бронзового резервуара этой «ленинской» лампы. Лица у них сделались строгими, полными такой глубокой любви, такого благоговения, что это сейчас же передалось и нашим ребятам, все еще находившимся под впечатлением стремительного движения по симферопольской магистрали: один за другим они подошли, погладили доску стола и, привстав на носки, коснулись лампы. Здесь же выставлена копия известной картины: Ленин стоит на балконе; сквозь узкие листья ив внизу сверкает Пахра, за ней простираются беспредельные просторы русской земли; опершись маленькой сильной рукой о перила, стремительно подавшись вперед, зорко прищурившись, он как бы всматривается в будущее.

Затем мы обошли вместе со студентами остальные две комнатки нижнего этажа. В одной стояло пианино, старенькое, потертое, с профилем Моцарта, в другой кровать Марьи Александровны, чудесной, благородной русской женщины, матери, воспитавшей целую семью русских революционеров Ульяновых, один из которых стал великим Лениным.

Мы долго стояли перед этой совсем простой, узкой железной кроватью, по-девичьи строго и аккуратно застланной летним стареньким одеялом, и я видел, как у одной из студенток, очень молоденькой и необыкновенно красивой девушки с русыми косами, связанными на затылке, дрожал маленький розовый подбородок. И я никогда не забуду сложного выражения горечи, восторга и гордости на ее суровом и вместе с тем нежном лице и движения ее пальчиков, быстро перебиравших клеенчатую сумку. Потом мы поднялись по крутой некрашеной лестнице в мезонин с оклеенным белой бумагой потолком, таким низким, что я почти доставал до него головой. Ничего лишнего. На белой стене маленькая черная полка с книгами — Добролюбов, Чернышевский, Пушкин. Перед балконной дверью совсем простой столик с маленькой, точно игрушечной, лампочкой под темно-зеленым стеклянным абажурчиком. Рядом — два тома Белинского. Старенькая качалка с потертым ковриком на спинке. Казалось невероятным, что именно здесь, в этом самом крошечном уездном мезонине, жил Ленин, садился на эту самую качалку... Было лето, зеленые отцветы июльского сада скользили по стенам, оклеенным белыми бумажными обоями. Снизу доносились бегущие звуки старенького звонкого пианино с пожелтевшими клавишами и головой Моцарта в медальоне. Позади — Шушенская ссылка, идейный разгром народников, впереди — заграница и основная, главная задача: создать подлинно революционную массовую партию нового типа. С чего же начать? Прежде всего — печатный орган, газета. Необходимо создать партийную печать нового типа — большевистскую. Борьба? Да, будет борьба! За это и поборемся! А летний день продолжал сиять, зеленые отцветы скользили по стенам, и Ленин вышел на балкон.

Сквозь узкие Листья ив внизу сверкала Пахра, за ней простирались беспредельные просторы родной земли, которую он так страстно любил и за счастье которой вступил в смертельную борьбу со всеми темными силами старого мира. Опершись маленькой сильной рукой о перила, всем телом стремительно подавшись вперед, зорко прищурившись, он как бы всматривался в будущее и с высоты видел то самое животворное, очистительное пламя Октября, которое разгорелось из его искры над Россией, над всем миром...

И снова навстречу нам, стремительно разворачиваясь, понеслось шоссе. Далеко впереди, над полосой леса, высунулась знакомая крышечка нового Московского университета. Через некоторое время она скрылась, а потом снова показалась, заметно выросши и определившись. Мерцая в солнечном тумане, Москва охватила полгоризонта, и над ней в разных местах стали появляться профили высотных зданий, которые мы узнавали как добрых знакомых: тот, что на Смоленской, тот, что на Котельнической возле Устьинского моста, у Красных ворот, клетчатый каркас гостиницы на Комсомольской площади, стрела над растущим домом у Кудринки. Все они за месяц стали значительно выше, законченнее.

А Москва все ширилась, охватывая уже не половину, а три четверти горизонта. Она заходила с боков десятками километров заводских кварталов, железнодорожных путей, парков, тонула в слоистой пелене дыма. Стаи белых голубей мерцали и переливались над городом, как бы плавая в горячем небе.

— Голуби мира! Голуби мира! — закричала Инна.

Проехал московский трамвай с прицепом. Навстречу бежали автомобили с московскими номерами. Мы обогнали автобус с пионерами. Они были в полотняных шляпах и возвращались из подмосковного лагеря. Из окна автобуса высывалось красное знамя с бахромой.

Проехал грузовик с коротенькой цистерной на прицепе — «Московский квас». Один за другим махнули в глаза большие, броские, такие знакомые плакаты: тарелки сибирских пельменей, виноградная кисть над черной бутылкой советского шампанского, подсолнечник возле кубика маргарина, завернутого в прозрачную бумагу, и, наконец, бокал с двумя нежными шариками мороженого и воткнутой ложечкой — на носу черного моржа.

«Покупайте автомобили, мотоциклы, велосипеды!»

Показалась небесно-голубая таблица с белой каемкой и крупной надписью славянской вязью: «Москва».

И в этот самый миг машина сбавила ход и вдруг остановилась на обочине, десяти метров не доехав до таблицы. Дядя Саша обошел машину и осмотрел покрышки. Оказалось, что задняя левая до того перегрелась от быстрой безостановочной езды, что не выдержала и не то чтобы лопнула, а просто разошлась по шву. Это казалось особенно досадно, так как за всю дорогу это была первая вынужденная остановка.

— Ну, братцы, — сказал я, — вот мы и дома. Здорово прокатились, а?

И вот тут-то тихая Инна, которая за все время не вымолвила почти ни одного слова, высказала плаксивым голосом все, что она думала:

— Да, здорово! Это вам, дядя Валя, было здорово всю дорогу сидеть впереди с дядей Сашей... А мы всю дорогу с тетей Эстой промучились друг на друге, и ваш выдающийся Павлик мне всю

голову отсидел! И ничего нам, детям, по дороге не давали: собак не давали, мороженого не давали... Чем так ездить, лучше пешком ходить...

Мы не предполагали, что Инна способна так много и так красноречиво выступать.

Пока дядя Саша с большим самообладанием, сделав неподвижное лицо, менял колесо, мы вышли в последний раз поразмяться в десяти шагах от Москвы.

Мы остановились как раз против какого-то аэроклуба, и каждую минуту низко над нами пролетали, идя на посадку, учебные самолеты, покачиваясь на поворотах и шатко садясь в отдалении на траву аэродрома, зеленую, как бильярдное сукно. Белая бабочка подлетела к нашей «Победе», покрутилась, села на горячий радиатор, сложила крылья и стала маленькой яхточкой. Потом раскрыла крылья и стала записной книжечкой. Потом улетела.

Мы тронулись и через минуту были уже в черте города.

1951